

18+

ΕΙΡΗΙΑ ΚΡΥΚΟΒΑ

DIAS DE LOS MUERTOS



Елена Крюкова

Dia de los muertos

«Издательские решения»

Крюкова Е.

Dia de los muertos / Е. Крюкова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-509839-9

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Мы все родом из древности Земли. Первобытные поверья Мексики. Космические просторы России. Молодые, с горячими сердцами, русский и мексиканка любят друг друга. На старинном народном празднике Dia de los muertos в Мехико оба понимают: короток, как вспышка молнии, миг счастья. А рядом с людьми крадется черная пантера: знак иного бытия.

ISBN 978-5-00-509839-9

© Крюкова Е.
© Издательские решения

Содержание

Пролог. Хлеб Смерти	7
Глава первая. Totus tuus	13
Глава вторая. Besame mucho	16
Глава третья. Запах оладий	18
Глава четвертая. Царь Солнца	20
Глава пятая. Старые фотографии	22
Глава шестая. Человек-собака	27
Глава седьмая. Смерть кота	29
Глава восьмая. Красный перец	32
Глава девятая. Катаракта	37
Глава десятая. Сальса в кафе Алисии	40
Глава одиннадцатая. Не приговор	44
Глава двенадцатая. Ночь Благодарения	48
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Dia de los muertos

Елена Крюкова

*Николаю Крюкову
и Марте Франсес Рекамьер Баррера*

Дизайнер обложки Владимир Фуфачев

© Елена Крюкова, 2019

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-0050-9839-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Улитка, Улитка!
Ты скользкая, как поцелуй!
Ты живешь в Раковине, и Раковина прячет тебя от жадных глаз.
Тебя можно выковырять из Раковины и съесть.
Тогда ты превратишься из Улитки в человека.*

*А человек – гаже тебя, Улитка.
Человек большая гадина.
Он убивает и ест все живое.
Он убивает себя.
Он – самоубийца, ибо не знает, что такое
Смерть и Жизнь.*

*Ползи, Улитка, по земле,
оставляй на песке мокрый след.
Влажный след. След любви.
Влажный поцелуй. Влага в глазах, слезы.
Улитка, родная! Улитка, живая!
Завтра, о, завтра ты
сгниешь в Раковине своей.*

*И люди найдут пустую Раковину на берегу.
И люди станцуют танец
вокруг Раковины на берегу.
Омочат ноги в Океане.
Омочат руки, груди и волосы.
Поплывут.
Соленая вода Океана плеснет им в глаза, во рты. Соленые слезы
земли.*

*Плывя под звездами, в Раковину будут трубить. Извлекать
музыку из мертвой кости.
Все, что бегаёт, ползает и летает,*

*превратится в кость.
Зачем же мы любим?
Зачем же мы любим и умираем?
Ведь все умрут, о дивная,
скользящая как губы в любви,
теплая, горячая Улитка.
Ведь все умрут.*

(песня марьячис)

Пролог. Хлеб Смерти

Ночь мазала лица и волосы синими, лиловыми чернилами. Звезд не видно: зачем людям звезды? Люди на земле: бегут, плывут, семят, падают, опять встают и бегут.

Идут.

Куда они идут, все эти люди?

Они идут на кладбище.

Огни вспыхивают и не гаснут. Огни бешенствуют, их золотые живые хвосты развеваются по ветру. А, это факелы! Ром глядел, как горит живой огонь: с треском, с вонью, фитили чадили и брызгали смолой. А вот и свечи, люди несут их в руках. Много свечей. Целый лес. Белый, ярко-желтый, густо-коричневый воск; дешевый парафин; нежные слабые язычки лижут черный воздух. Свечные огни подсвечивают лица снизу, сбоку, будто высвечивают изнутри.

Изнутри. Что у меня внутри?

Потроха. Сплетения кишок. Наверное, они густо-синие, фиолетовые, переливаются живой кровью, и в них, внутри, превращается в дрянь красивая и вкусная еда.

Что еще? Сердце. Живой мешок. Бьется. Кисет, полный крови. Кровь делает так: тук-тук, и я слышу этот стук. Слышу. Еще слышу.

Теплая рука сильно, еще сильнее сжала руку Рома. Он шел по кладбищенской дорожке, держал Фелисидад за руку, и их ноги, соскальзывая с каменной крошки, вязли в грязи. Недавно прошел дождь. В ноябре, здесь? Редкость, почти чудо.

Чудо Господне. А чудо всегда от Бога? Или от кого другого? Он усмехнулся. Фелисидад что-то весело говорила, ее птичий щебет долетал до его губ и щек и обжигал их. Всюду стоял шум, и Ром ничего не слышал.

Шум, гам, веселье. Странное, немыслимое, дикое веселье. Здесь, на кладбище, люди не скорбели – они веселились. И Фелисидад то и дело поднимала к нему смуглое лицо, оно было расцветено огнями неподдельной радости, и Ром должен был разделять эту непонятную карнавальную радость, не имея на то никаких причин.

Они шли, пробирались среди людей и огней, и люди и огни все более сгущались, кучковались, роились, нависали живыми виноградными гроздьями над могилами – древними, старыми, вчерашними и свежими.

Свежие могилы заметнее всего. Свежая грязь. Свежий холм. Пахнет разрытой землей. Пахнет палыми листьями и червями.

Мраморный маленький памятник; белая плита, цвета молока. На плите лежат: пирог, торт, череп из твердого сладкого теста – калавера – со вставленными в каменное тесто, в пустые глазницы, золотыми монетами-глазами, и калака – искусно сделанный из такого же теста скелет. Скелет нынче запекли в печке, тесто жесткое, но разгрызть можно. Зубами. Живыми зубами.

Перед могильной плитой на коленях стоит маленький чернявый мальчик, он похож на черного верткого жука, жужелицу. Крутится, оглядывается, встряхивает плечами, то ручки сложит в молитвенном нарочном жесте, то вытянет лицо в лицемерной печали. Вокруг могилы, над сторбившимся мальчонкой, стоит семейство. Семья. Все черные, иссиня-черные жесткие волосы одинаковы у мужчин и у женщин. Все смуглые жесткие, будто медные лица похожи – один гончар наverts на круге времени эти сосуды, эти чаши.

Женщины всплескивают руками. Кричат, будто ругаются. На самом деле они кого-то хвалят. Кому-то славу кричат.

А может, проклинают кого? Нет, непохоже.

Мужчины вынимают из сумок, из огромных черных мешков снесь. На могилу уже навалены горы снеди. Калавера и калака уже давно погребены под слоями длинных, как палки, пирогов и маиса, гигантских тако – о, какой от них доносится превосходный грибной, мясной дух! Ром с радостью засунул бы сейчас в зубы один из этих свежеиспеченных тако. О да, они свежие. Свежие тако. Свежая могила.

Свежий, чудный запах сыра, фасоли, соленой рыбы, жареного мяса.

Мужчины продолжают вынимать из пакетов и сумок пищу. Женщины берут ее у мужчин из рук и весело раскладывают на могиле. Свечи горят. Девушки высоко поднимают их. Маленькие девушки. Здесь женщины – малютки, а девушки – куколки. Мужчины есть рослые, бравые. А вот высокую девушку редко встретишь.

Фелисидад у него тоже маленькая.

Господи, еще живая Фелисидад.

Он больно стиснул ее лапку, и она тихо вскрикнула – он почувствовал вскрик, но не услышал: так громко гомонили вокруг, а у других могил еще и пели. Пели! Это было уже совсем из рук вон. Ром оглянулся на поющих. Сдвинул брови. «Фелисидад говорит мне: у тебя брови похожи на два крохотных початка маиса. Ей в диковинку русые брови. Здесь же все как из угольной топки».

Череп из теста. Череп из расписного дерева. Череп из ваты и шелка с блестками. Череп леденцовые. Череп яблочные. Шоколадные череп. Вот стоит ребяенок поодаль, с наслаждением сосет такую шоколадную калаверу, уже почти всю проглотил, и мордочка измазана сладостью, липкостью, жизнью. Он съел смерть – и доволен!

Череп из оникса. Аметистовые пьяные, сверкающие глаза. Череп из сусального золота, а глаза под мертвым лбом горят из бирюзы, из сердоликов. Черт, да тут целая ювелирная лавка! «Это все поддельные камни. Игрушки. Забавки. Это понарошку, ты, слышишь, тут все понарошку, все неправда».

Череп из гранита. Из мрамора. Мраморная калавера – на мраморной плите. Хрустальные глаза. Они горят мертво и вызывающе. Они кричат тебе: ты станешь таким же! Таким!

«И совсем скоро».

Ром наклонился к Фелисидад и попытался ей улыбнуться. Его улыбка вышла жалкая, подбострастная, будто бы он лебезил перед страшной калаверой, улещал ее, молил об отсрочке; а улыбка Фелисидад столкнулась с его улыбкой ясная, чистая, зубы белые, один к одному, жемчужные, алмазные.

«Зубы. У нее еще есть зубы. И еще будут у нее во рту долго, долго, много лет; а потом начнут выпадать. И, если я буду жив и буду жить с ней, я это увижу».

Все яства выложила семейка на могилку? О нет, не все! Толстая, в три обхвата, как старый платан, тетка с орехово-коричневой кожей вытащила из рюкзака совершенно необъятную лепешку. Разломила, и две половинки хлеба торчали в двух поднятых над громадным животом руках, как две половинки скатившейся с черного неба безумной Луны. Запахло медом, корицей, молотым орехом, апельсиновой цедрой.

Фелисидад встала на цыпочки. Ром приблизил ухо к ее дрожащему в улыбке рту.

– Pan de Muerto, – почти крикнула она, а ему показалось – прошептала, так гомонили люди, как птицы, вокруг. – Ром, это сладкий хлеб, очень, очень вкусный! Попробуй!

– Я не...

Фелисидад выставила плечо вперед, будто в танце. Да она почти танцевала. О Боже, да тут все уже танцевали! Возле ближних могил, возле дальних – откуда-то появилась, возникла музыка, замелькали крохотные, как эти их девушки, гитары в руках, и люди запели, как уличные марьячис, нет, лучше – кто слаженно, кто вразной, кто заливая голосом черно-белый кладбищенский ночной ковер, мраморные памятники, золоченые кресты, кто наборматывая себе под нос страшную и разудалую ночную песню, будто одинокую молитву. Выбросила руку

Фелисидад, вцепилась в хлебный разлом в руке толстухи. Мать семейства, а может, бабушка, а может, тетя, а может, подруга, а может, веселая и толстая Смерть сама, с хохотом рванула хлеб на себя; а Фелисидад – на себя; и в руках Фелисидад остался кусок хлеба, пахнущего апельсином и ночью любви.

– Мучас грасиас, донья! – крикнула Фелисидад и потрясла в воздухе куском.

Протянула Рому:

– Пробуй!

Он взял Хлеб Мертвых опасливо, как ежа.

– И что я должен делать с ним?

Фелисидад захохотала:

– Есть! Ешь! Ну!

И черные буйные, мелкокудрявые волосы, целая черная копна, безумный стог, заплясали, запрыгали у нее по плечам. И полезли, вместе с хлебом, Рому в рот.

Он кусал немислимо вкусный хлеб, кусал, грыз, всасывал, ел, вкушал, глотал, глотал вместе со слезами, пытался улыбаться, ничего не получалось, он ел и плакал, ел и кривил рот, чтобы Фелисидад не подумала, что ему больно и плохо здесь, на этом диком чужедальнем кладбище, на этом празднике чужом, безумном, – а вокруг приплясывали, взбрасывали вверх, к ночному угольному небу, живые руки, золотые языки заполошных огней, и пели – дико, сочно, разевая до отказа рты, сверкая белками диких, почти звериных, веселых глаз:

– Проходя через кладбище,

Я увидел калаверу!

Там она, пыхтя сигарой,

Распевала петенеру!

Эй, отродье, калавера!

Ты, двузубая старуха!

Вижу, как ты скачешь лихо,

Как твое набито брюхо!

– Ну что? – кричала Фелисидад. – Вкусно?!

Он утер хлебом слезы. А они все катились и катились.

Проорал:

– Вкусно!

Таранился на пляшущих возле огромного памятника из розового, с кровавыми прожилками, мрамора: под мраморным розовокрылым ангелом толстопузый кудрявый мужик держал за высоко поднятую руку молоденькую девчонку, девчонка трясла в ночи цветными, как павлиньи перья, юбками – один волан, другой, третий, а вот и нагие ноги, коричневые и худые, как у жареного цыпленка! Ноги – вверх. Руки – вверх. Пузран еще сильнее дернул девушку за руку. Ром испугался: а вдруг вывихнет? Девушка показала все зубы. Крутанулась на одной ноге, на миг превратилась в живое цветное, яркое веретено. «Ее юбки горят в ночи, как фонарь. Как красива жизнь! Как все в ней вкусно и сладко!»

Дядька с тремя подбородками и мощным пузом отпустил руку плясуньи. Мраморный ангел сурово, свирепо глядел на Рома. По спине Рома тек пот. Ноябрь, а так жарко. Здесь всегда жарко. И летом и зимой. Нет холода. Нет снега.

Фелисидад показала жестом: подними меня! Ром схватил Фелисидад поперек живота, как кошку, и приподнял ее так, чтобы ее лицо оказалось на уровне его лица. Внезапно тяжесть тела Фелисидад исчезла. «А, это она встала на край надгробья ногами».

– Коатликуэ, – выдохнула Фелисидад Рому в ухо.

– Что это?

Ее волосы опять щекотали ему подбородок, губы.

– Не что, а кто. Коатликуэ. Она. Старуха. Это богиня. Мы поедем в Теотиуакан, и я тебе покажу ее там на фреске. Это беременная старуха. – Фелисидад вытянула над грудью руки и округлила их. Засмеялась. – С животом. Это Земля.

– Земля?

– Ну да. Земля. Земля всегда беременна.

– Кем?

– Нами.

Толстая тетка рядом со свежей могилой («нашей могилой», подумал он, вот уже и нашей) взяла с гладкого белого, как снег, мрамора надгробья две трубочки бурритос, протянула их Рому и Фелисидад. Они взяли. Фелисидад сделала смешной книксен, потом обхватила теткинину шею рукой и чмокнула ее в щеку: раз, другой. Вкусно и смачно. Громко. Щелк, щелк.

Ром подумал: в третий раз поцелует – это будет по-русски, – но поцелуя было только два. Раз, два.

Огни вокруг. Может, они возгорелись сами? Тут, на кладбище? И это не люди зажгли все свои свечи, факелы и фонари, а их мертвецы спустились сегодня с небес и вышли из-под земли, чтобы разделить с живыми радость огня, трапезы и танца?

Красивый парень, что стоял рядом с толстухой, глаз не сводил с Фелисидад. Ром понял: он стыдно краснеет, лицо горит, и это гнев и ревность. «И так всю жизнь? Если кто-то посмотрит на нее – я буду так же мучиться? И мучить ее?» Парень прищелкнул пальцами. Ром смотрел на изгиб носа, на выгиб сочных, ярко-красных, как у девушки, вкусных губ. «Это просто тонкие хрящи. И складки плоти. Плоть умрет. Сдохнет. Ляжет под землю. Сгниет. И этого красавчика закопают, а он пялится на мою девушку. На мою девушку!»

Ром дернулся, Фелисидад схватила его за локоть.

Красавчик насмешливо перевел взгляд с Фелисидад на Рома.

Открыл рот, как для поцелуя. Нагло пошевелил между зубами кончиком розового, как у кролика, языка. И запел:

– Я со смертью, жизнь спасая, как-то раз слюбился смело!

Фелисидад громко, грубо захохотала. Ром впервые видел, чтобы она так веселилась.

Еще никогда он не видел Фелисидад такой... разнузданной? Распоясавшейся?

...гордой. Счастливой и гордой.

...и веселой, веселой.

«Сейчас лопнет от смеха. Они все сумасшедшие, что на кладбище так веселятся!»

Она подхватила, громко и фальшиво, песню красавчика:

– Я теперь силен: кося от меня затяжелела!

Взмахнула бурритос, как флагом. Из хлебной трубочки вывалились куски мяса и красная фасоль, полетели в щеку Рома. Упали на плечо, испачкали рубашку. Он вытер щеку ладонью. Соленая щека. Красная кровь подливки. Как вкусно пахнет. Землей, едой, духами Фелисидад.

Он низко наклонился над головой маленькой девушки, почти девочки. Смоляные пружины волос, золотая материна сережка в коричневой раковинке уха.

– Фели, – сказал он, понимая, что хочет убежать отсюда. С праздника ужаса. С торжества скелетов. – Фели, мне худо.

Он еще не совсем хорошо говорил по-испански. Подыскивал испанские слова.

«Они поют и пляшут, а я плачу. Я дрянь. Я тряпка. Я хочу быть мужчиной. Стать мужчиной. Мы не мужчины и не женщины. Мы все скелеты. Скелеты. Все!»

– Я так сказал? Или не так? Как надо?

– Так, – черненькая головка кивнула, смуглая шейка согнулась. – Но здесь же так хорошо!

Ром с изумлением и отвращением глядел, как чернявый курчавый мальчонка, сидя на корточках перед могилой, расколупал пальцами марципановый гробик и вынул оттуда шоколадный скелет. Отламывал пальчиками темное ребро, ступню, берцовую кость. Засовывал в рот. Рома чуть не вытошнило.

«Я тряпка. Если они это могут, то могу и я!»

Внезапно стало весело, будто бы он сидел в цирке и глядел на диких зверей, на то, как через огненный обруч прыгают львы и тигры.

Толстуха протянула Рому еще кусок Pan de Muerto. Он жевал, глаза стекленели, остановились, губы растягивались в улыбке, зубы работали: молили, перетирали. «Мы едим сами себя. Сами себя».

Мужчина, похожий на черного быка («кольца в носу не хватает...»), открыл крышку термоса и разлил в маленькие бумажные стаканчики, рядом стоящие по периметру надгробия, горячее питье. Пар завивался усиками над стаканами. Мужчина-бык, вместе и торо и тореро, осторожно взял горячий стакан, поднес Рому – заботливо, нежно: так лекарство подносят больному.

– Пей, сынок! Горячий шоколад!

– Пей, – услышал он шепот Фелисидад, – пей, так надо, так... надо...

«Все в жизни надо. Пока живешь – все: надо, надо, надо. И никогда – хочу, хочу!»

Поднес прозрачный стаканчик к носу. Нюхал горячее, сладкое, терпкое. «Вот так и жизнь: трепещет, колыхается в одноразовом стаканшке. И мощные жадные губы выпивают, а мощная равнодушная рука сминает стакан. И выбрасывает. И забывает. Не помнит ничего. Никогда».

Ром прихлебывал горячий шоколад и делал вид, что ему весело.

Весело! Так весело!

Фелисидад обняла его обеими руками за талию. Ее лицо уткнулось ему под ребра.

– Ты меня не обманешь. – Задрала голову. – Тебе грустно. Но ты поймешь. Идем танцевать!

Дернула его за руку. Он отшвырнул пустой стакан. Над верхней губой у него нарисовались темные шоколадные усы. Фелисидад потянула его, она тащила его за собой, как локомотив тянет мертвый, тяжелый состав. Шагнула на мрамор, он шагнул за ней.

Они оба стояли на чьей-то могиле. На ровном, белом, сахарном мраморе.

И у Фелисидад были сахарные зубы. И сахарные белки. И горящие свечные зрачки.

И вся она горела черной, сумасшедшей свечкой.

Завела руки за спину. Ром собезьяничал ее движенье. Переступила ногами. Он скопировал. Она еще раз переступила маленькими, будто игрушечными ножками, пошла на него, выпятив грудь, нежную юную птичью грудку. Он попятился и засмеялся.

Наконец-то засмеялся по-настоящему.

Так они, как два петуха, перебирали ногами и то насакивали друг на друга, то отступали, и оба улыбались, и губы Рома из деревянных и соленых становились сладкими и мягкими, и он на чужой забытой могиле танцевал с Фелисидад сальсу, да, это была сальса, а он пока не знал об этом.

И все на кладбище, в ночи, вместе с ними танцевали безумную, веселую сальсу; друг с другом, с ночью, с факелами, со звездами, со смертью.

И рядом, захлебываясь весельем, играл бандонеон, и перебирал парень медные жилы старой гитары, отцовской гитары; и вздох, счастливо пели марьячис – о том, что лучше жизни нет ничего на свете, а придет время – лучше смерти ничего не будет; и мы обнимем ее крепко-крепко, и поцелуем, ликуя, и возьмем грубо и жарко, как черный бык по весне покрывает красную корову; да не слышал Ром, что поют, половину слов не понимал, видел лишь горящие, огромные глаза Фелисидад, и там жизнь и смерть вместе пылали, две черных свечи.

И взмахнула Фелисидад обеими руками, и крикнула:

– Оле!

И этот поганый красавчик, гореть бы ему в аду, как тут говорят, он уже выучил это выражение, вспрыгнул на мраморный квадрат, схватил Фелисидад за талию, рванул на себя, и вот они оба уже валятся на землю с мраморного эшафота, а он стоит один, растерянный, оглядывается по сторонам, жалко улыбается и понимает: только что, сейчас, вот сейчас у него из-под носа увели, похитили, выкрали его любимую.

Он сжал кулаки.

– Эй! Ты!

Наглец уже обнимал Фелисидад за плечи. И она смеялась!

Ром поднял вверх два сжатых кулака.

Стоя, в сполохах огней, на мраморном саркофаге, он походил на умалишенного боксера, забредшего на карнавал – драться, а тут танцуют, едят и поют.

Он глядел, как они танцевали! Они!

– Вы...

Он соскочил с могилы. Размахнулся. Фелисидад, танцуя, все прекрасно видела.

И не остановила его.

«А что, ей любопытно...»

Не успел додумать. Не успел крикнуть. Кулак попал в чужую скулу. Чуть ниже скулы.

Под глаз.

«Я первый раз...»

Он никогда в жизни не дрался.

Красавчик пошатнулся.

«Неплохо, черт...»

Падает. Нет! Удержался!

Ром не увидел подножки. Слишком темно. Ночь.

Растянулся на камне, на крошечке, на бумажках, на мраморной крошке, на ночной плывущей, шоколадной грязи.

Подбородок разбил. Губу.

Боль. Везде. Под ребрами. На шее. Под лопатками. На лице. На скулах.

...бил ногами.

Он слишком поздно понял – его бьют ногами.

Фелисидад орала. Люди бежали. Свечи горели и сгорали. Факелы дико трещали.

«Дикий народ. Смерть – праздник?! Зачем?!»

– Прочь! – вопила Фелисидад. – Пошел отсюда! Это мой парень!

«...это она мне или ему?»

...любовь. Сегодня с одним, завтра с другим.

Толстуха, угощавшая их бурритос, схватила красавчика за шиворот и завизжала:

– Ты! Ты предал Смерть! Ты обидел ее! И она к тебе не придет! Никогда не придет!

Будешь молить – не придет!

– Мать, – хрипел красавчик, утирая с лица кровь, – мать, она приходит ко всем, что ты врешь...

Сердце в нем перекатилось, сделало кульбит, другой и остановилось. Ни удара. Ни бубна. Ни тимпанов. Ни тарелок. Ни стука костяшек пальцев по гитарной деке. Ничего. Молчанье.

И в полной тишине, разлившейся по всему полоумному кладбищу, на всю ночь, раскатился порванными бусами тонкий крик Фелисидад:

– Помогите! Мой парень! Он умирает!

Глава первая. Totus tuus

Бабушка звала его тихо и нежно, и он слышал. Играя в песочнице, вылепляя из сырого, пахнущего собачьей мочой песка куличики, он слышал ее голос. Идя в школу, со смешным ранцем на сутулой спине, везя по грязи и слякоти башмаками, что велики были, куплены на вырост, а может, он просто постеснялся крикнуть: бабушка, они мне велики! – он ее голос слышал. Сидя у себя в спальне, сгорбившись над страницами, исчерканными формулами, цифрами и символами, он слышал его.

Ее голос.

Бабушкин голос.

Она звала его, как пела.

Она пела. Она так любила петь.

Она пела, когда вставала с постели, и пела, когда мыла полы. Пела, когда шила, когда светлая, как день, или черная, как ночь, материя лезла и падала на пол из-под ее ловких рук, из-под иглы ножной швейной машинки, – а голос лился, звенел, и нога сама отбивала такт и ритм. Она пела, когда пекла в духовке пирог с яблоками или запекала курицу, и Ром втягивал изумительный запах ноздрями голодного волчонка. Пела, когда пила лекарства – лекарств у нее было очень много, целая армада склянок, пузырьков, флакончиков, коробочек, пакетиков возвышалась на столе; руки копошились в снадобьях, руки накапывали в мензурку капли, ловили прыгающие по столу таблетки, а голос жил отдельно от капель и рук, – ему не требовались лекарства, чтобы жить и выжить: он был вечен.

Бабушка тоже была вечна. И Ром был вечен.

Они оба были всегда. Всегда.

Ром был слишком маленький, чтобы помнить, как погибли его родители; а они погибли, разбились на машине, так глупо, возвращались из Москвы в родной город с чемоданами и сумками, полными всяческой вкуснятины, – тогда, давно, при другой власти, когда на улицах в праздники вывешивали на всех домах красные флаги, а во всех магазинах выстраивались длинные, как тропические змеи, очереди за колбасой, в их городе не было в досталь еды, нельзя было купить вкусную, хорошую еду к празднику, а праздник был просто замечательный – Седьмое ноября, в этот день надо было готовить холодец, натирать хрен, печь беляши – все это умела бабушка, да, и великолепно умела; но не было к столу ни сыра, ни сливочного масла, ни копченой колбаски, ни апельсинов, ни хорошего ликера и хорошего коньяка, ни других, столь же сказочных яств – за ними надо было ехать в столицу.

Вот и поехали мать и отец Рома: туда – на поезде, обратно – в машину сели, к шоферу, ну почему не дать парню подкальмить, святое дело.

Машина с родителями Рома разбилась на подъезде к городу. К ступку искореженного металла приехали, гудя, вопя, милиция и «скорая». Дверь автомобиля разрезали автогенном. Старый «москвич» на полной скорости врезался в громадную, как гора, грузовую фуру. Шофер фуры, дрожа и плача, глядел, как из легковушки вынимают красное, белое, меховое, тряпичное, костяное: то, что минуту назад было телами, людьми.

Шоферу налили стакан водки. Он выпил и отвернулся. А потом повернулся и опять глядел на смерть.

При всех погибших обнаружили документы. Родители Рома прибыли домой, но с ними нельзя было говорить, их нельзя было обнять. На домах развевались, на ледяном диком ветру, дикие красные флаги. Из морга позвонили. Бабушка наглоталась валидола, грохочущий трамвай довез ее до безумного, ледяного белого храма – морга. Она увидела две каталки, прикрытые черным целлофаном, и села прямо на пол.

Так сидела, будто на лужайке, за городом, на летнем пикнике.

Первое время, пока бабушка еще пребывала в морге и ее отпаивали разными снадобьями, делали ей в руку и в тонкие синие жилы взбадривающие уколы, она немножко сошла с ума: она качалась из стороны в сторону и тихо пела, и слова ее песни потихоньку, быстро-быстро записывал на клочках бумаги молоденький медбрат морга – он никогда не слышал таких красивых слов, а еще никогда не слышал такого голоса: нежного, как у девушки, и полнокровного, как у оперной дивы. Бабушка Рома в те годы была еще не старуха, у нее еще были румяные щеки, хотя кожа под щеками и подбородком морщилась, обвисала и надувалась, как зоб у индюка. Бабушка отпела свои невнятные надгробные песни – они сошли на нет, растаяли, как сосульки. За скорбным, сиротьим окном морга, увитым ледяными венками посмертного мороза, дико и страшно горело сквозь серые волчьи тучи приговоренное к вечному тюремному хождению по кругу ноябрьское солнце.

«Солнце, – сказала еще молодая бабушка, – отвезите меня к моему солнцу, прошу вас!»

Ее отвезли домой, к внуку, как она и просила.

Ром сидел среди игрушек и терпеливо ждал бабушку. На столе валялись упаковки валидола, бежали по скатерти белые колеса сладких таблеток. Бабушка глядела на таблетки и думала: не излечишься от жизни, если живешь. Ром подошел к ней, уткнулся головой ей в толстый теплый, как пирог, живот.

Так стояли: бабушка и внук, и оба поняли бессловесно, враз: они одни, и крепче надо держаться друг за дружку, крепче.

Бабушка стирала. Бабушка стряпала. Бабушка провожала Рома в школу. Бабушка гуляла с ним по городу, и они оба, вместе, излазили все его уголки: залезали на кремлевскую стену, и Ром чуть со стены в газон не свалился, все бы руки-ноги переломал; тряслись с гремучих желто-красных, облезлых трамваях до конечных остановок, и водитель гнусавил: «Вылезайте! Чего расселись!» – и бабушка важно шла к распахнутым железным дверям вагона, крепко держа за руку внука.

Бродили в солнечных парках, тарацились на неземной аттракцион – «чертово колесо», и Ром так сильно захотел покататься, и бабушка сначала запретила, а потом разрешила, и они уселись в уютную лодчонку на двоих, и медленно, медленно поднималось вверх гигантское колесо, колесо обозрения: поглядишь сверху на осеннюю землю, на крошечных, как тараканы или божьи коровки, лениво ползающих и оголтело бегущих людей, и подумаешь: вот она, маленькая жизнь, как на ладони, а ты уже над ней, и беспокоиться не надо – лети себе, лети среди облаков, крутись, пари, улыбайся. Колесо взмыло еще на несколько метров вверх, и Рома стошнило. Его вырвало прямо на красивую юбку бабушки, черную, в мелких красных цветочках. Бабушка сама сшила эту юбку на старой ножной швейной машинке. Гладила машинку, как живую птичку или кошку, и ласково говорила о ней: «Финская».

Бабушка, после похорон дочери и зятя, обнаружила в себе счастливый пеня дар – и пела, заливалась соловьем, пела и что знала, и чего не знала, что на ум взбредет, а вернее, в широкое, вольно и терпеливо бьющееся сердце. После смерти двух дорогих существ обыкновенное, ничем не примечательное сердце бабушки внезапно вместило всю смерть и всю жизнь, и она часто удивлялась, как это они обе, такие разные и такие одинаково страшные, мирно и празднично в ее сердце уживаются. Спрашивала себя: как это? Спрашивала и Бога, но Он не давал ей ответа. Молилась бабушка плохо и неумело, в ее краснознаменном детстве ее не только не учили молиться – по всей стране взрывали церкви, расстреливали батюшек, и имя Господне произносилось торопливым шепотом, тревожно, боязливо, нервно, всуе.

Хотя серебряный крестик, невесть откуда взявшийся, бабушка благоговейно носила; и, когда на кладбище, у разрытой могилы, среди немногих друзей кто-то один смущенно пере-крестился, бабушка тайком вынула из-под батистовой кофточки крестик на тонкой черной

бечеве и крепко прижала его к губам, и крест отпечатался на губах. Друзья дочери потом повели ее в дешевую пирожковую, на поминки, мужчины наливали водку в граненые стаканы, пили и плакали, и заедали пирожками с повидлом, картошкой и зеленым луком, налили водки и бабушке, и она тоже выпила и заплакала. А потом запела.

И все притихли. И все ее слушали.

И все изумились голосу ее.

Изумлялся и Ром, но лишь на первых порах. Когда бабушка, настирав и отжав гору белья, однажды вышла из ванной комнаты и запела, присев на краешек табурета, уронив на толстые могучие бедра столь же могучие полные руки, Ром, услышав это дивное пенье, выронил ручку из пальцев и застыл. А чернила с пера пролились на тетрадную страницу, всю усыпанную бегущими цифрами, как черными муравьями.

Бабушка любила петь, а Ром любил цифры.

Он любил математику, да так сильно, что и бабушку хотел к этой любви приобщить: усаживал ее вместе с ним решать задачки, выводил на листах хитрые самодельные формулы и кричал: вот, гляди, я изобрел закон! Бабушка, прижав ладонь ко рту, думала: ах, неужели мой внучек гений! А потом вдруг пугалась: Господи, а может статься, он безумец!

Но ничего безумного и противоестественного не наблюдалось в живом веселом мальчике. Он не помнил родителей, вернее, сначала немного помнил – голос матери, волосатые жилистые руки отца, со странной, очень странной татуировкой выше запястья: «TTTT», четыре буквы, страшно молчащих о неведомой тайне. Когда лица отца и матери стали стираться из памяти, а оставались только вздохи, причитанья, засохшие между страниц старых книг нежности, бормотанье забытых сказок на ночь, Ром помнил только эти четыре синих, расплывающихся на смуглой коже, разрезанных синими перевитыми жилами буквы, и все повторял про себя: «Тэтэтэтэ», – заговор, заклинание, посвящение.

Он так никогда и не узнал, что отец его, до женитьбы на его матери, был влюблен в девушку, а она купалась в реке и утонула, слишком далеко заплыла, на стремнину, и отец набил эту татуировку, плакал и скрипел зубами, и означало это по латыни: «TOTUS TUUS», «Всецело твой».

Totus tuus – три буквы Т; а где же четвертая?

Ром еще не знал, что во времени есть провалы; в жизни есть недоказанные теоремы.

Глава вторая. Besame mucho

- Франчо, ты правда умеешь играть на гитаре, Франчо?
- Ну ты даешь! Конечно, умею!
- Ну давай, сбацай что-нибудь!
- Что?
- Такое заводное!

Парни стояли кругом, и рядом гомонило, вспыхивало женскими юбками и молниями золотосмуглых рук уличное кафе.

Простое веселое кафе на углу шумных столичных улиц Эмильяно Сапата и Коррехидора.

Парни хотели, чтобы он сыграл музыку огненную. Чтобы он зажег. «Сейчас я вам зажгу», – подумал он зло и весело – и ударил по струнам. Так резко ударил – содрал кожу на сгибах пальцев. Сморщился и запел.

Парни, смеясь, слушали его песню, прищелкивали пальцами, подпевали. Пританцовывали. На их улице Франчо, круглый сирота, славился тем, что здорово умел играть на гитаре и петь веселые песни. И известные, и незнакомые. Парни понимали: незнакомые – это его песни. Франчо сам сочиняет песни. Это вызывало еще большее уважение.

Он играл, и гитара вспрыгивала в его руках. Дергалась, как от ожога. Он обжигал ее ладонями. Когда гитара взлетала уж слишком высоко, Франчо ловил ее и громко ударял кулаком в деку, потом хлопал по деке ладонью: как по боку корову ли, лошадь. Одобряя; укрощая.

- Франчо, да ты марьячи!
- Настоящий марьячи!

Про него ходили слухи: жил в католическом приюте и сбежал оттуда, нагавив падре в снятую в жару и забытую на стуле шапочку-солидео.

Две девчонки, отодвинув стаканы с недопитым молочным коктейлем, встали, оттопырив кругленькие приманчивые зады, и, слыша издали музыку, тоже щелкали пальцами и переминались с ноги на ногу, отбивая ритм.

Потом, улыбаясь, небрежно, будто бы и не к ним совсем, подошли к парням.

Через головы пялились на поющего Франчо.

– Эй! – крикнула одна девчонка и улыбнулась шире. – А неплохо!

Стояли. Слушали. Было что послушать.

Парень, стоявший напротив Франчо, играл карманным ножом. Нож блестел бешеным мальком в ладонях, взлетал и падал, и парень его ловил. Девчонки глядели: одна с презреньем напускным, другая с восхищеньем.

Франчо спел последний куплет, брякнул по струнам и замолк. Гитара еще долго гудела. Он не клал ладонь на струны – пусть отзвучит на свободе.

Восхищенная шагнула ближе.

Еще ближе.

Закинула руку ему за шею, притянула его голову к себе и поцеловала.

Ее губы пахли молоком.

«Как у ребенка», – подумал Франчо.

Парни засвистели. Вторая девчонка, презрительно щурясь, заплодировала.

– Спелась, пташки!

Франчо стряхнул с плеча руку девчонки.

Она все так же широко улыбалась.

– Эй, ты кто?

– Кукарача, – сказал Франчо.

– Ха, ха!

– Меня все так зовут.

Помрачнел. Брови сдвинул. Сорвал гитарный ремень с плеча, упрятал гитару в чехол. Хорошенького понемногу.

Парни столпились вокруг девчонок. Ухмылялись им. Заговаривали им зубы. Трогали за локти. Девчонки смеялись в ответ. На Франчо тут уже никто не обращал внимания. Так, поиграл музыкант на перекрестке, и никто даже деньгой не побаловал. Наглецы. «Всухую работал».

Зубы сцепил. Кулаки сжал. На губы налепил веселую улыбку.

Он забыл сказать девчонке, что его кличут не просто Кукарача.

А так: Кукарача-сирота.

И все это хрень. Сиротой он был вчера.

А завтра станет богатым и счастливым.

Богатым, счастливым и знаменитым.

И его полюбит лучшая девушка мира.

Лучшая! К примеру, такая: темнокожая мулатка с нежнейшими голубыми глазами.

Он видел такую однажды в порнофильме. Как она классно двигалась!

Жесты обезьяньи, а лицо богини.

Что такое женщина? Кухня, постель, роды. Нас всех родила мать, и мы, залавливая на темной улице подгулявшую девицу, тащим ее в подъезд и ищем в ней красную дырку – вход в детство, в прошлое, в то, что было до рождения и будет после, потом.

После – чего?

Мать. Не думать. О матери думать запрещено.

Так же, как и о смерти.

Насвистывая песню Консуэло Веласкес, бессмертную «Besame mucho», он пошел, переваливаясь на длинных тощих ногах, как моряк на палубе в качку, побрел, потащился прочь – из этой подворотни, от этого гадкого кафе, от девчонок, подцепивших сразу хренову тучу парней, – навстречу своей собственной, и больше ничьей, музыке.

...а попросту – в другое кафе.

Глава третья. Запах оладий

Ром любил математику, а математика любила его.

А бабушка любила их обоих.

Бабушка, после обеда, усаживалась в кресло с учебником алгебры на коленях. Бабушка осваивала логарифмы. Ром с радостью видел – бабушка и тут стала его другом; он попросил ее: «Отведи меня в школу, где изучают математику!» – и бабушка определила его в такую школу, уломала, умолила директрису. Мальчик приносил домой в дневнике только отличные оценки по математике и физике. Бабушка хлопала в ладоши и пела: «Поздравляю! Поздравляю! Счастья-радости желаю!» Для нее каждый день с внуком был как день рождения.

Итак, каждый день бабушка рождалась заново, а вместе с ней рождался Ром. Она мастерила ему бумажные самолетки. Готова была сама себя слепить из пластилина, стать его огромной живой игрушкой, если б его бабушкой уже не была.

В математической школе Ром увлекся физикой, потом астрономией. Все давалось ему легко, шутя. Когда он, при свете жаркой, как печка, настольной лампы склонялся над тетрадкой, бабушка подходила к нему, проводила ладонями по русой голове, целовала в темечко и шептала: «Ты пахнешь вкусным хлебом». Ее подслеповатые, уже старые глаза судорожно бегали по непонятным столбцам знаков и формул. Знаки, все в жизни есть знаки, и вся жизнь, может, есть знак. Один-единственный знак. Когда мы его прочтем? Когда разгадаем?

Чтобы не думать обо всякой лишней печали, бабушка заводила песню.

Она пела, когда гладила белье; пела, когда крошила в борщ лук и чеснок; пела, когда спицы шелкали и летали в ее руках, в ее морщинистых, длинных, как виноград «дамские пальчики», коричневых, венозных пальцах; пела, когда вечерами рассматривала старые детские коллекции Рома – он мальчишкой ловил жуков и бабочек, насаживал их на булавки, потом укладывал в коробки из-под конфет на пухлую вату; а потом внезапно он, убийца маленьких живых существ, опротивел сам себе, ревел и тряс головой, и размазывал кулаками слезы по грязным щекам, и повторял: «Никогда больше! Никогда! Никогда!»

Ловля насекомых прекратилась. Но бабушка очень любила на ночь глядя любоваться синими, красными, пятнистыми и изумрудными бабочками и черными мертвыми жуками-плавунцами, а Ром их презирал, ненавидел, боялся коробку открыть и разрыдаться, хотя он был уже взрослый мальчик и знал: мальчишки никогда не плачут.

«Бабушка, спой!» – просил он, закончив делать уроки, и бабушка, покорно вытерев руки, уставшие от кухни, стирки и стряпни, вставала в дверном проеме и открывала высохший, с родинкой-чечевицей над верхней дрожащей губой, уже старческий рот, и оттуда вылетали юные, свежие, светлые звуки.

Или садилась, уже грузная, огрузлая, оплывшая, раздавшаяся вширь, громадной старой баржей всплывала на трещавший под ней стул, и звенели пружины, и под аккомпанемент ржавых пружин разлепляла губы, и мелко дрожали, тряслись жировые складки, печальные обвислости под подбородком, заволосевшим, как у мужчины, как у старика; и выходила наружу из утлого, разваливающегося, тонущего, погибающего в волнах времени, тела, похожего на ком расплывшегося в тепле кухни теста, выливалась, лилась сладкая и прозрачная, пьяная и великая песня, когда со словами, а когда без слов, – и слушал внук, открывши рот, слушал как пил песню, слушал – как молился, хотя молиться он не умел, а бабушка ему давно, когда он еще маленький был, купила на уличном лотке «Детскую Библию», – рисунки яркие, аляповатые, у Христа лицо деревенщины, у Марии модные серьги в ушах, у Иосифа борода до земли, – а бабушка пела ему молитву, а он и не знал об этом.

Да бабушка и сама не знала.

Она пела о краснобархатных знаменах с кистями – ими обворачивали раненую грудь далекие, скорбные солдаты забытой войны; пела о золотых рыбах, что ходят во глубине холодного озера, лежащего в горах узкой синей саблей; пела о девочках-сиротках, у них взорвали дом, и сиротки идут босиком по огромному миру и просят милостыню, и им кладут в шапку большие и маленькие деньги; пела о сердце – оно бьется-бьется, а потом в ночном небе сверкнет молния, и оно остановится – от страха ли, от радости – раз и навсегда. Она пела Рому о густо и жарко горящих частоколах длинных, как жизнь, свечей, возжигающихся раз в году в большом древнем храме, далеко отсюда, в выжженной скалистой стране, и Ром, когда она пела это, видел перед собой эти длинные, слеplенные в пучки, в снопы белые тонкие свечи, и горящими снопами размахивали люди, окуная в огонь лоб, щеки и подбородок, руки и бороды, и не обжигались, не вспухали на коже у них волдыри; и, когда бабушка пела о чудесном огне, голос у нее крепнул, мощнел, и внук пятился – она казалась ему древней пророчицей, старухой-сивиллой.

Она пела ему о нежных белых цветах, о том, как сладок их запах, и что душа человека тоже имеет аромат: не каждому дано его ощутить. Только любящая душа обоняет и вдыхает любящую душу.

И опять пела бабушка о сердце, Ром уже знал эту песню, – о сердце, что стучит неустанно, тяжелый чугунный молот, а потом обрывается стук: так тишина стучит в живую дверь тела, так молчание стучится в дом, полный смеха и голосов.

Бабушка всегда обрывала песню внезапно, ни с того ни с сего. Оба сидели, слушали тишину. Потом бабушка говорила: «Ромушка, я пойду пожарю тебе оладушки?»

С кухни в гостиную летел запах оладий. У бабушки никогда ничего не подгорало. Она готовила очень хорошо. Ром ел оладьи и в восторге облизывал пальцы: пять на левой руке, потом пять на правой. Все десять. Бабушка, подперев щеку сильной рукой, умиленно глядела, как он ест.

Когда Ром ложился спать – а спать они ложились всегда в одно и то же время, по часам: в двенадцать ночи, – он слышал, как бабушка тихо поет, напевает себе под нос. Слов в ночной песне не было. Кошачье мурлыканье. Нежные стоны. Колыбельная для цветов. Для тех, пахучих неведомых белых лилий любви.

Глава четвертая. Царь Солнца

Ее с детства обучали древнему искусству.

Она сама не знала, как назвать то, чем она владеет; ее мать сказала ей: у нас это передается из поколения в поколение, и тебе я передам золотой огонь. При слове «золото» Милагрос вздрагивала. Ее старая мать, Инеса, дома хранила три огромные золотые маски; из настоящего золота отлиты перья, дыбом встающие вокруг владыхных голов; в золотых ушах мотаются золотые серьги, и золотые слепые глаза торчат из глазниц, как золотые яйца.

Три бога? Три царя?

В голодный год сеньора Инеса продала маски в музей, и ей соврали, что дорого заплатили, – а она и поверила. Зато на эти деньги они прожили кусок жизни; и если, и пили. И даже ткани купили, и сеньора Инеса сшила одежду детям, мужу и себе.

И так, расставшись с золотыми масками индейских вождей, что передавались в их семье из поколения в поколение, они выкрали из сундука времени лакомый кусок и съели его, как звери, как носухи едят лакомства из рук людей в виду огромных пирамид, – и счастливы они были.

Девочка Милагрос очень тосковала по золотым маскам сеньоры Инесы. Особенно она любила одну маску: серьги в мочках круглые, как автомобильные шины, лоб стесан к затылку тупым углом, в ноздре золотого носа золотое кольцо. Легкая улыбка обегала золотые губы и возвращалась внутрь золотого черепа, в прародину, в темную ночь времени, кишашую золотыми пчелами-звездами.

Милагрос звала маску – Царь Солнца. Тайком, ночью, вынимая маску из материнского сундука с цветными шерстяными пончо и длинными теплыми юбками, привезенными сеньорой Инесой с гор, от брата Сильвио, пастуха, Милагрос молилась ей, вставая на колени и поминутно, смешно кланяясь. Маска тускло светилась в ночи розово-желтым, горячим светом. Милагрос грела об нее ладони.

Когда сеньора Инеса продала все маски в музей, Милагрос плакала ночами напролет. Днем она превращалась в тихую послушную девочку. А ночью снова рыдала жена золотоликого Царя, заламывая руки.

Сильно тосковала девочка о маске древнего царя, о своем прошлом. Свое прошлое она видела сначала в диких огненных снах, потом наяву. Мать учила ее не бояться, когда вдруг приходят боги – наяву и во сне.

Боги были живые, не из книг. Боги садились за их стол и ели вместе с ними. Бог-крокодил, богиня-змея, бог-койот, бог-ягуар жили рядом и иной раз приходили ночью, заходили во двор, в патио, выли, шуршали, рычали, кричали. Богам надо было вынести еду в миске, разбросать зерна маиса по земле. Разбрызгать алое вино – пролить через плечо, плеснуть над головой. В Праздник Мертвых прилетал живой дракон, открывал пасть, из пасти вырывался белый и синий огонь, и Милагрос смеялась от страха и радости. Она совсем не хотела быть колдуньей. Но мать Инеса сказала ей так: «В нашем роду все колдуны, и ты колдуньей станешь, не артачься».

И Милагрос покорно училась.

И хорошей ученицей она была.

Вместе с сеньорой Инесой маленькая Милагрос заходила внутрь старых пирамид, и там видела темные, странные и страшные фрески, где мягко наступали лапами пантеры на отрубленные головы воинов. Видела нарисованных быков, что под бормотанье Инесы оживали, переступали мощными черными ногами, крутили хвостами. Мать Инеса бесстрашно брала змей голыми руками и обматывала живой скользкой змеей себе шею и грудь. Милагрос глядела

напуганно и восторженно. «Так не гляди, – строго говорила Инеса, – гляди смело и холодно. Глаза колдуньи холодны, а пятки и ладони горячи. Я научу тебя ходить по огню!»

И верно, сеньора Инеса научила Милагрос ходить по углям, и не ради дешевого цирка, не ради забавы – ради чувства подлинной Силы, что должно было однажды родиться внутри девочки.

Сила пришла незаметно, посреди будней, обычным солнечным днем, когда Милагрос, сидя в патио, сбивала в узкогорлом деревянном сосуде сметану в масло. К ней подошла кошка, облизывалась. Милагрос протянула руку – и кошка встала на задние лапы, развела передние, будто танцевала. Милагрос покачала рукой вправо-влево – кошка нагнулась вслед за движением вправо и влево. Милагрос, смеясь, начала щелкать пальцами, как кастаньетами, отстукивая дробный веселый ритм – кошка стала прыгать в такт щелканью. Глаза кошки горели и говорили. Милагрос прочитала в глазах зверя: «Я понимаю тебя, я слушаюсь тебя, я люблю тебя. Я сделаю все, что ты хочешь».

И тут Милагрос испугалась.

«Это Сила пришла», – сказала она сама себе тихими похолодевшими губами.

С тех пор чудеса стали сопровождать Милагрос повсюду. Чудеса пропитывали повседневность, прослаивали золотым повидлом скудный, нищий пирог будней. То отец сядет за стол в разорванной на локте рубахе – а после обеда, глядь, на рукаве – аккуратный плотный шов. То сестренка занеможет, лежит, бедная, в жару, ловит воздух губами – Милагрос откроет дверь в комнату больной, дунет-плюнет, излетит из губ легкий, будто птичий, свист – и через час сестра, изумляясь выздоровлению, встает с постели, качаясь и улыбаясь, не зная, кого благодарить, – и благодарит Бога. То Инеса купит на рынке рыбу, а Милагрос разрежет ее – а там, в брюхе, среди икры и кровавых потрохов – драгоценный перстень! И точь-в-точь на палец Милагрос.

«Счастлива будешь, дочка, – мурлыкала мать Инеса, расчесывая на ночь косы дочери, – и с мужем счастлива, и в детях. Вижу, все вижу! Вижу твоих дочерей. Младшей, слышишь, искусство передай, а?»

Милагрос кивала, косы ползли черными змеями с тяжелой от подступающего сна головы.

Когда ей исполнилось шестнадцать лет, ее выдали замуж за сеньора Сантьяго Торреса, достойного мужчину, из хорошей семьи; и стали у них рождаться дети, и на время забыла Милагрос об искусстве своем и о Силе своей – некогда было.

Глава пятая. Старые фотографии

Однажды Ром спросил бабушку: «Бабушка, а у меня ведь был дедушка?»

Бабушка долго, долго смотрела на внука. Она смотрела и не видела его. Мутные хрусталики не пропускали земной свет. «Был, а как же. Самый прекрасный дедушка в мире». Ее когда-то красивые, карие с зелеными искрами, теперь тускло-болотные глаза замерцали, заплыли слепыми слезами. Слезы медленно потекли в руслах морщин, бабушка собирала их пальцами, как мелкие ягоды.

Ром ударил себя по коленкам: ну вот, заставил бабушку плакать! Лучше бы не спрашивал!

Он ведь знал, что она ответит.

Опять о смерти. Опять о ней.

И верно, так и было.

Бабушка сложила руки на груди, вздохнула, приготовилась к рассказу. Они оба сидели за столом, в тарелке стыли недоеденные баклажаны, в фужере солнцем горел апельсиновый сок. Ром отпил глоток сока, и сок показался ему крепким вином. Он уже пробовал и вино, и водку, и пиво, и курево, и все это ему не понравилось. Он пробовал это, чтобы не прослыть в глазах друзей рохлей и тухтей.

«Твой дедушка был сначала моряком. Плавал по морям. Он прошел войну. Воевал в северных морях. А потом он стал художником. Ты никогда не спрашивал меня, откуда у нас эти картины. Вот спроси. Спроси: откуда?!»

Бабушка крикнула: «Откуда?!» – и встала из-за стола. Воздела руки вверх. Ром зачарованно глядел на нее. Оглядел стены их маленькой квартирki, где они жили всю жизнь. Он никогда не думал об этих картинах! Думал: они здесь всегда! Думал: и всегда здесь останутся!

Как и они сами, сами они, будут всегда.

«Откуда?»

Язык не слушался. Он с трудом дышал. Задыхался.

Бабушка сама испугалась своего крика. Опустила груз тела на стул, он закрипел под нею.

«Это твой дед написал. Дедушка твой».

«Он...» Ром все-таки выговорил это непонятное слово. «Умер?»

«Нет. Ангелом стал».

Он не понял, бабушка хотела пошутить или посмеяться. Ему не до смеха было. Он встал и медленно, медленно, будто совершал старинный молчаливый обряд, стал обходить гостиную, задрав голову. Картины висели тут от века, он с ними родился, вернее, он-то был всегда, и они были тоже всегда, и веселили его, и радовали, и утешали! Ром разглядывал картины, а картины пристально, сосредоточенно разглядывали его, и он ужаснулся их нарисованным глазам, нама- леванным рукам, их беззвучно кричащим рта-м.

На картинах сиял мир. Его нарисовал его дед.

Ром вставал на цыпочки и гладил холст, замазанный густым ультрамарином, сиеной жженой, – с холста ему в лицо плескало море, вдали таял парус, небо истекало жарой. Женские хохочущие ясные лица, мужские небритые бандитские рожи, стариковские изморщенные маски, детские румяные яблочные мордашки летели в него с полотен, двигались, гомонили, кружились, качались, взлетали.

Ему показалось, это бабочки, и он должен поймать их сачком, как в детстве ловил несчастных летунов.

«Бабушка... а это... ты?»

С холста на Рома глядела, вниз и вкось, черноволосая красотка. Иссиня-черные волосы убраны на затылке в тяжелый пучок. Лицо иззелена-смуглое, чуть торчат скулы, глаза летят

по лицу, два черных веселых шмеля. Черный китайский халат расшит громадными яркими хризантемами – белыми, алыми, розовыми. Загорелую шею обнимает красный легкомысленный шарфик. Руки, единственные из всего остального, мастерски сработанного, намалеваны бегло и небрежно, наспех, плохо. Руки, единственные на всем молодом и сияющем полотне, – старые.

Старые дрожащие руки.

«Да. Это я».

«Ты?!»

Он повернулся к ней. Он бросился к ней.

«Бабушка! Бабушка!»

Он прижимался к ней и плакал, сотрясался в плаче, он первый раз плакал после гибели родителей, и, кажется, воистину первый раз в жизни. Бабушка растерянно притискивала его к широкой мягкой груди и плакала вместе с ним.

«Почему ты никогда не говорила мне про дедушку?! У нас есть его фотографии?!»

Бабушка смешно сторбилась, как гномик. Стала вдруг маленькой, настоящей старушкой. Годы все сразу написались на ее опавшем лице черной, несмываемой формулой. Ром не мог ее решить.

Старые руки вытащили из шкафа холщовые самосшитые мешки. Из мешков на стол вывалились фотоснимки. Много снимков, кучи, тучи, – бабушка все трясла холщовый мешок, а фотографии все валились и валились.

Когда мешки опустели, бабушка и внук сели за стол – разглядывать прошедшую жизнь.

Их руки копошились в фотографиях. Пальцы ложились на давно мертвые лица. Глаза рассматривали давно закопанные в землю наряды, разрушенные и снесенные дома, русла ручьев, что высохли давно. Шуршала липкая бумага, мелькал черно-белый, давно отгремевший мир, и Ром увидел наконец тех, кого не видел никогда.

«Это кто?»

«Это дед твой. Красивый, правда?»

Старуха плакала безостановочно. Слезы лились и лились. Она тоже не плакала очень давно. Перед ними танцевали, целовались, махали руками с борта парохода, пили вино в старинных застольях, хмурились и освещали сумрак улыбками их дорогие, любимые: ушедшие.

Слезы капали на старую фотобумагу, а Ром вытаскивал из рассыпанной колоды карт времени одно лицо за другим, одну жизнь за другой.

Бабушка замерла.

Сейчас он вытащит из колоды даму и короля. Тех, кто его родил.

Ром прочитал шепотом: «Люся, Ромка и я». Перевернул снимок.

Стоял рослый парень, смеялся во весь рот. Ямочки на щеках, тугие скулы. Щербина меж зубов. Похож на зайца. Рубаха расстегнута на груди. Рядом женщина, ему по плечо. С виду старше, но видно, что тоже счастливая. На руках держит белый странный кокон. Вроде куколки. Да бабочка не вылетает. Все завернуто, закручено белым, плотным, атласным, штапельным, смертным.

«Люся... кто?»

Бабушка глядела на Рома незряче. Глядела и не видела.

Что, кого она видела сейчас вместо него?

Собралась с духом. И дух вылетел из ее рта, как тихая песня.

«Это твои мама и папа, Ромушка».

Ром держал фотографию в пальцах, и пальцы дрожали.

И его голос как песня прозвучал:

«А где они теперь?»

И бабушка прижала руки к груди. Она так удерживала, как птицу, свое резко и сильно, кровавыми толчками, бьющееся сердце.

«Они умерли».

«Как?»

У внука кончились слова. Он понял: ничего говорить не надо.

Бабушка положила руки на колени. Крепко переплела пальцы. Набрала в грудь воздуха. Ей предстояло нырнуть в песню, которую она еще не пела никогда.

«Они поехали покупать в Москву еду. Вкусную еду, нам всем! Еда, еда людская! Все мы едим еду. Все мы ее готовим. И никто не знает, какую еду будем мы есть там, куда нас пригласят в свой черед. Железная повозка везла их, везла! Слишком быстро везла! Разбилась она, разбилась. Разбились они, разбились. В алое месиво превратилась еда. Мы – лишь еда смерти, и ест она нас, причмокивает, и вкусны мы для нее. Что такое тело? Что такое душа? Душа – это продолжение тела, а тело – это продолжение души. Я хоронила их, а как – не помню! Мне все пели в уши, пели вокруг, очень громко, оглушительно, и я слух потеряла. А потом опять услышала мир. Ты у меня остался. И так я стала тебе всем, всем. Матерью тебе стала! Отцом – стала! Дедушкой – стала! Бабушкой – стала! Я одна у тебя осталась, и ты стал всем миром моим! Я так люблю тебя! Я люблю тебя так, как никто тебя больше в целом мире любить не будет! Даже девушка твоя! Даже – жена! Даже – дети твои, внуки твои! Я, я одна...»

Так пело ее ветхое, дырявое как тряпка сердце. А губы вылепили:

«Несчастье... Не спасли...»

Воздух в груди кончился. Легкие сложились гармошкой и выдохнули последний плач. Слезы высохли, будто под солнцем палящим. Внук положил фотографию родителей на зава- ленный мертвой жизнью стол и крепко обнял бабушку за плечи.

«Ты одна у меня. Ты моя. Я больше никого не полюблю. Я буду любить только тебя».

И бабушкино счастливое лицо взошло над поминальным столом, как яркое солнце.

И Ром сказал: «Я хочу посмотреть на звезды. Давай пойдем посмотрим на звезды?»

Ром с самого детства ходил вечерами вместе с бабушкой смотреть на звезды.

Бабушка покупала ему книги по математике, физике, астрономии, однажды у букини- стов купила прекрасную старинную книгу, на обложке было вытиснено золотом: «КАМИЛЬ ФЛАММАРИОНЪ. ОБЩЕДОСТУПНАЯ АСТРОНОМІЯ». Книжка эта, про звезды, нрави- лась Рому больше, чем все сказки. Он просил бабушку читать ему из нее на ночь. Бабушка послушно читала, потом пела внуку песню про звезды. И так он засыпал.

Ром вычитал из этой книжки, что астрономы наблюдают звездное небо в телескопы. «Конечно, настоящий телескоп стоит очень дорого, и нам его не купить, – сказал он, проси- тельно заглядывая в лицо бабушки, – но можно ты мне купишь подзорную трубу? У нас хватит денежек?»

Бабушка откладывала деньги из пенсии и за три месяца накопила на подзорную трубу. Ром торжествовал. Наступал вечер. Они тепло одевались. Осенние, зимние звездные вечера, лютый холод, лужи под хрупким хрусталем льда, черное небо распахивает врата бездонья. Бабушка плотно завязывала тесемки цигейковой шапки под подбородком Рома. Сама набра- сывала на плечи необъятную шубу. Шубу ей купил еще дедушка, давным-давно. Светло-жел- тая, как волосы Рома, шуба, сшитая из шкурок китайской земляной выдры. Ром гладил ладо- шкой царскую шубу, и ему представлялось, как живые выдры бегают по берегу реки, а потом ныряют в волну. Варежки на резинках болтались, вылезая из рукавов. Бабушка в белом платке с длинными метельными кистями походила на красавицу из сказки. Ей в этом одеянии стано- вилось сразу меньше лет, и Ром молча радовался: а может, время пойдет вспять!

Он крепко держал подзорную трубу. Боялся выронить, разбить.

Они выходили на улицу, фонари тускло и тоскливо горели над ними, лили желтое масло в черную кастрюлю зимней пустынной улицы. Бабушка прятала руки в муфту. Муфта пахла нафталином, бабушкиными духами, бабушкиной молодостью. Ром приставлял к глазу окуляр, вертел сочлененья трубы, пытаясь увидеть звезду не расплывчато, а четко и ясно. Он уже изучил, как созвездия располагаются на небесах, знал, когда на западе появится Венера, где и когда меж обледенелых ветвей загорится красный Марс.

Ром протягивал бабушке трубу: посмотри! Видно диск планеты! Превосходное увеличение!

Бабушка брала трубу осторожно, как ящерицу. Поднимала, наставляла туда, куда указывал внук.

И не видела ничего, ничего.

А говорила так:

«Внучек, как красиво! Какой красивый Марс! Он красный, да, горит как волчий глаз!»

И Ром смеялся от удовольствия. А потом спрашивал: бабушка, а ты волков живых видела?

«А как же, милый мой! Во время войны мы осенью поздней на дачу ездили, там хранились у нас запасы провизии... и вот отец мой гонит лошадь, кнутом ее стегает, а за телегой-то – волки бегут! Да как прытко! Снег летит из-под лап! А отец знай наяривает, а мы мешки с луком да картошкой к себе прижимаем... и орем! Орем! Визжим что есть мочи! Нет, не боялись волки нашего визга! Просто конь у нас быстроногий был... унес... Гнедышка...»

Ром вырывал из рук у бабушки подзорную трубу. Жадно глядел, шурился, ловил объективом звезды, планеты, туманности. Они ускользали. Уплывали. Это Земля вращалась, а он стоял на одном месте. Мир вращался вокруг него, а он стоял, маленький, в шапке-ушанке, с подзорной трубой, на ледяной улице, под желтками сумасшедших фонарей, и пялился на бесконечность, на бездну.

Бездна. Без дна. Ром глядел в окуляр на дрожащую каплю света. Он понимал, как она далека. Миллионы лет лететь до нее. А он видит ее – здесь и теперь. Черные мешки Космоса развязывались, сыпалось белое, желтое, синее зерно. Радость и ужас вместе охватывали Рома. Волоски на всем теле вставали дыбом. Это было священно, страшно. Он впервые испытывал чувство беспредельности, и оно пугало его: он не мог обнять его ни умом, ни маленьким сердчишком.

Понимал лишь: он – козявка, а Космос – великий, и что такое его крошечная жизнь перед черными просторами, забитыми звездной пылью?

Малютка – и огромность, какую не измеришь мыслью. Букашка – и прогалы вечности.

Труба в руке тряслась. Скользила в шерстяной варежке. Слезы текли по раздумянному лицу. Это от мороза, успокаивала себя бабушка, вытирая слезы внука краем муфточки. Пусть поглядит на свои звезды. Пусть полюбуется. Может, астрономом станет?

Я не букашка, повторял себе беззвучно Ром, шествуя домой рука в руке с бабушкой, я не паучок, не бабочка. Я – человек, и, если я понимаю, как Космос велик, может быть, и он понимает меня?

Но огромное черно-синее, цвета бабушкиных молодых кос, усеянное от зенита до горизонта точками звезд небо молчало. Не давало Рому знак.

И Ром, прижимая подзорную трубу к груди, к козьей шубенке, закинув головенку к страшному бездонному небу, шевелящемуся всеми недосягаемыми огнями, шептал себе празднично и обреченно: «Я не умру. Нет, я не умру. Нет, нет, я не умру».

А дома бабушка ставила на плиту чайник, и вынимала из холодильника копченую вкусную колбаску, и разогревала на чугунной черной сковородке жареную курочку, и Ром, усаживаясь за стол, вертя в руках серебряную старинную вилку, заплетая бахрому скатерти в косичку,

следа, как бабушка режет ржаной хлеб на расписной доске, весело спрашивал ее: «А курочка настоящая или пищевая? Если настоящая – я есть не буду!»

И бабушка, кусая губы, бормотала: «Пищевая, а как же, конечно, пищевая. Пищевых курочек не убивают. Их делают на фабрике. А живые курочки бегают в деревне и клюют травку. Ешь, мой сладкий!»

И вот, поглядев на старые фото своих мертвецов, они оставили спокойно лежать на столе старые черно-белые отпечатки мертвого времени – и засобирались на свое давнее и любимое развлечение, на зимнюю улицу, на звезды глядеть.

Ром заботливо укутал бабушку в шубу. Мех погрызла моль. Локти облезли. Воротник весь в проплешинах. А вот и платок, в нем бабушка гляделась царицей. Обвязав платком голову, глядел Ром умиленно – хоть старая, а все же царица. Бабушка села на стул, и Ром встал на колени и сам обул ей разношенные сапоги. Он был еще мальчик, он не знал, не понимал, откуда появляются деньги и как они все эти годы жили на земле. Но он увидел, как плоха одежда бабушки, как выцвел старый платок, как жалко висит на плечах траченная молью, когда-то богатая шуба. Сердце его будто облили кислотой, выжгли в нем дымящуюся дыру. Впервые он ощутил стыд и впервые почувствовал себя взрослым, хоть был еще ребенок.

Они, как прежде, вышли на ночную улицу, и бабушка задохнулась от мороза. Ром ждал, пока она отдышится. Она улыбнулась, и в свете фонарей блеснули искусственные зубы, вставная челюсть. Ром крепко взял ее под локоть, чтобы она не упала, не поскользнулась на черной наледи. Подвел к скамейке, усадил. Бабушка сидела на скамейке, с улыбкой ребенка. Ром навел подзорную трубу на зловещий, красно-кирпичный Марс, восставший чуть выше ближней крыши.

«Дай поглядеть!» – робко попросила бабушка, подняв обе руки.

Ром бережно поднес трубу к ее лицу.

Бабушка, как всегда, соврала ему. «Ох, какая же она красивая! Это Венера?»

Ром тихо сказал: «Марс, это Марс».

Бабушка воскликнула: «Ах, прости, я ошиблась! Какая красота! Я вижу там каналы! А может, там живут марсиане?» Ром увидел – она наставляет трубу не на небо, а на опущенные инеем деревья. Молния жалости ударила в него. Он вынул трубу у бабушки из рук и чуть не заплакал, но сдержался.

Он подумал: все, кто умер, ложатся в гроб, в землю, а звездам и дела до этого нет. Светят, как всегда. Он захотел больше не быть человеком, а стать звездой, самосветящейся, долгоживущей, почти вечной. Из «ОБЩЕДОСТУПНОЙ АСТРОНОМИИ» Фламариона он уже знал, что и звезды умирают. И им отпущен срок.

«Они живут все равно дольше, чем мы!» – крикнуло все в нем, внутри. Крик чуть не разодрал ему грудь.

Бабушка спокойно сидела на скамейке, все так же улыбалась. Она смотрела перед собой, и вместо снега, деревьев и крыш видела радость.

«Идем домой, внучек, а то на нас нападут бандиты и трубу отнимут!»

Она всегда боялась бандитов, разбойников, воров. Боялась – нападут, ограбят, избыют.

«Бабушка, – сказал Ром хрипло, – я скоро окончу школу, поступлю в университет, выучусь, буду работать и заработаю тебе денег на операцию. Чтобы у тебя опять видели глаза».

Глава шестая. Человек-собака

– Парень! Ты! Да!

Лохматый парень обернулся на крик и улыбнулся.

Выбитые зубы, костяная расческа.

Ноги тонут в навалах сырых, гнилых газет. Картофельные очистки, мандариновые шкурки. Вот лежит игрушечный медведь – у него один глаз глядит, а второго нет: окривел. Выкололи. Ножницами отрезали грубую мертвую нить.

И пузо медвежье выпотрошено: взрезали ножом, вытряхнули опилки.

Закончилось детство.

Жизнь началась.

– Что?

– Эй, стой, куда ты!

Кудлатый парень взбирается по горе мусора. Ему кажется: он убегает. На самом деле он судорожно корчится и бестолково карабкается, и жесты его рук похожи на беспорядочные движения лапок таракана, когда его морят и он погибает от страшного запаха смерти, выдуманной для таракана изобретательным человеком.

– Да что ты! Спятил! Я ж тебе ничего плохого не сделаю! Ты!

Бежит. Все вверх и вверх.

И растет, растет мусора гора.

– Ты! Слушай! Да говорю тебе...

Посреди свалки лезет на мусорный террикон несчастный мальчишка. Кажется, он живет здесь: он тут как свой, и одежка у него бродяжья: портки с чужих ног, пиджак с чужого плеча. Лохмат, как девка – а кто бы его тут постриг? Парикмахеры на свалке не открывают салоны. Жалко мальчишку. Глазки крошечные, глубоко подо лбом горят, как у зверька; укусил бы, да боится.

– Да стой ты! Вот на, возьми... поешь!

Парень оглядывается, и на миг зверьи глазки просверкивают человеческим доверием. Он верит и не верит. Он хочет и не хочет подойти. Он хочет и не хочет убежать.

Стоит на пружинящей, вонючей гнили, качается.

Человек, что подзывает его, как собаку, прилично одет. Светлый костюм, подбритые усики, на груди, на цепочке, очки в черепаховой оправе висят. Может, профессор какой; а то и знатный торговец. Зачем он здесь, на свалке поганой?

Человек протягивает лохматому человеку-собаке сверток. На расстоянии, как зверь, чувствует парень, как от свертка вкусно пахнет. Еда! Человечья еда! Не отбросы!

Начинает спускаться. Будто с небес. Будто ангел. Тихо, осторожно.

И уже улыбается.

И уже тянет руку.

И уже – рядом.

Как просто, оказывается, приманить человека.

Гораздо проще, чем зверя.

Вот человек-собака рядом с человеком-человеком.

Вот человек-собака робко переворачивает руку ладонью вверх.

И так стоит, будто милостыню просит.

Как просто сейчас схватить руку, вывернуть грубым захватом, повалить его на землю. Ногой наступить на грудь. Как просто его сейчас убить.

И накормить – тоже просто.

Человек-человек кладет в лапу человека-собаки, живущего на свалке неподалеку от красивого города Мехико, завернутую в промасленную бумагу еду. Что это? Тако? Бурритос? Энчиладос? Все равно. Это пахнет очень вкусно. Слюнки текут. Слезы текут. Человек-собака благодарно берет сверток и пытается поклониться человеку-человеку. Крепко сжимает сверток в руке.

– Осторожно, мясо раздавишь, – говорит человек-человек хрипло, – там жареная курица. Ешь! На здоровье!

Человек-собака разворачивает сверток и ест. Прямо на глазах у человека-человека.

Ест жадно; пылко; страшно; стремительно.

Через минуту от курицы в ладонях остаются косточки.

Кости. Розовые и желтые кости.

Зубы перемололи жареную маленькую жизнь.

Человек-человек смотрел, как ел человек-собака, и плакал.

Когда пес закончил грызть – человек отвернулся, чтобы пес не видел его жалких слез.

– Ты! Эй! Ты тут все время живешь, что ли?

Человек-собака глядел непонимающе.

На языке таял вкус жареного, обильно перченого птичьего мяса.

– Хочешь, пойдём со мной?

Человек-собака обрел дар речи.

– Куда?

– Ко мне домой!

Ветер шелестел обрывками газет. Куриные кости посыпались из рук. Кудлатый парень вытер жирные ладони о штаны.

– Заведете, – спросил человек-собака, – и убьете, и на органы?

Человек-человек закусил губу, чтобы не выкрикнуть лишнего.

– У меня дом большой! Семья большая! Не обидим!

– Нет уж! – пролаял пес. – Не обманешь! Я ученый!

Заплясал, замахал растопыренными пятернями:

– Я ученый! Я ученый!

Человек-человек стоял перед человеком-собакой, беспомощный, и чувствовал себя горой мусора, на которой пляшет сальсу резкий сырой ветер, несущий с востока тучи и дождь.

– Ну и хрен с тобой!

Побрел прочь. Курица не помогла.

Обернулся.

Парень уже не плясал сальсу вместе с ветром. Стоял, рот открыл.

«Хочет меня окликнуть. И стыдится».

Человек-человек взмахнул рукой. Рука пахла жареной курицей.

– Я еще приду!

Сунул руку в карман, вынул носовой платок, тщательно вытер руки, протер золотое обручальное кольцо на смуглом толстом пальце.

Глава седьмая. Смерть кота

Наблюдения неба подтолкнули Рома к наблюдению земли. Он стал наблюдать жизнь.

Что такое живое? Можно убить, раздавить муху. Можно зарезать быка на скотобойне. «Люди людей убивают, а нам и телят не велят», – приговаривала бабушка за стряпней, за шитьем.

Природа шумела, шелестела, порхала, ворковала вокруг него, и он склонялся над листком, бережно ощупывал ягоду, брал на ладонь жужелицу и глядел, как она беспомощно ползает, чаёт вырваться, уйти, убежать. «Моя ладонь – ладонь разбойника. Но я не убийца. Нет». Ром присел и выпускал пойманную жужелицу, и она обрадованно, счастливо, на всех парах, суетливо перебирая лапками, бежала, убегала – прочь от него.

«Я для нее – смерть».

А он хотел стать жизнью для них всех.

Он завел дневник и записывал в него: сегодня распутилась верба, сегодня вылетел первый шмель, сегодня я видел первую чайку над рекой.

Бабочек и жуков, которых раньше безжалостно насаживал на иголки, он полюбил новой, тревожащей любовью. Глядя на их жизнь, на их порханья и перемещения на земле и в воздухе, он думал: это свой мир, свое царство, у них свои законы, другие, не как у нас; но они – как мы, и они тоже думают.

Он поехал на Канавинский рынок и купил там заморыша-котенка, за копейку. Привез домой. Бабушка всплеснула руками и затряслась в плаче: «Ах, батюшки! Ах, жалко-то как! Кисочка! Или котик?! Ох, не надо бы нам!хлопоты...заботы!Его же надо кормить! Ухаживать за ним! А я уж старенькая у тебя, а тебе же некогда!»

Прошло немного времени. Бабушка полюбила котенка столь же пылко, как внука.

Котенка назвали Филькой, он вырос и превратился в мощного, пушистого, полосатого сибирского кота. В дом приходили мыши – Филька их ловил, жестоко придушивал и приносил Рому в зубах, клал полумертвую мышь к его ногам, словно говоря: «Вот, хозяин, погляди, какой я у тебя проворный». Ром вознаграждал кота ломтем колбасы.

Ром давно уже понял, что никаких пищевых кур нет, так же как и пищевых коров и свиней: всех их человек убивает, а потом делает их куски мяса.

И мясо можно есть. А можно и не есть.

Он попробовал не есть мясо. «Я не могу, не буду есть живое!»

В это время он сдавал экзамены в университет и падал от усталости, волнения и голода. Однажды, сидя за учебниками, он упал в обморок. Бабушка трясущимися руками лила из пузырька нашатырь на ватку, подносила к носу Рома.

Ром очнулся, повел головой и хрипло попросил: «Бабушка... спой мне».

Бабушка пела песню без слов, голос ее дрожал, по-прежнему юный и светлый, и кот Филька пришел, прыгнул бабушке на колени, терся головой о ее могучую грудь, слушал.

Кот был весьма умен и очень чуток. Однажды он встал на задние лапы и поднял морду к картинам, что висели по стенам. Усы кота вздрагивали. Он открыл пасть, высунулся кончик розового языка. Уши прыдали. Кот тянулся всем полосатым пушистым телом вверх, все вверх и вверх, к старым холстам.

Ром увидел, подошел. Погладил кота. «Ну что, Филька, что ты весь как струна? Что ты там увидел? Услышал?»

Тишина.

В тишине Ром отчетливо услышал мелкий, дробный треск. Будто трескали доски на морозе. Или рассохшаяся дека гитары. Или дека пианино. У них дома стояло старенькое

черное пианино «Красный Октябрь», а на вешалке висела старая дедушкина гитара. На пианино никто не играл, и слоновая кость клавиш пожелтела и съежилась, а гитарные струны порвались, скатались в медный жесткий клубок.

Кот вытянул шею. Ром приблизил ухо к холстам. От картин шел этот удивительный, дробный треск, будто кто-то невидимый, крошечный отбивал крошечными ножонками чечетку на мраморном полу.

Спину Рома окатило волной пота. Он ближе поднес лицо к картине. Изображенные на ней юноша и девушка улыгнулись ему. Он вытер ладонью лоб. Масляная краска, застывшая навеки. Шелковая белая кофточка смуглой девушки, тонкое лицо юноши. Оба такие прозрачные, что сквозь них можно разглядеть время.

Ром сказал коту: «Кис, кис, Филипп! Что ты услышал? Расскажи мне!» Кот мяукнул, гнусаво, длинно. Да, зверь что-то важное говорил человеку. Но человек не понимал его.

Ром сел на кровать. Взял кота на руки. Так долго, долго сидел.

На улице стемнело. Треск постепенно утихал. Прекратился. Исчез.

Позже Ром понял: картины говорили ему на своем языке про прошлую, умершую жизнь, а кот слышал эту речь; но не мог перевести на человеческий язык.

«Мы все говорим на разных языках. Мы все – иностранцы друг другу. И только те, кто любит, понимают друг друга без слов».

– Кот, я понимаю тебя, – сказал Ром Фильке.

Но кот холодно, надменно и непонимающе глядел на него выпуклыми, зелено-желтыми, крыжовничными глазами.

С тех пор Ром сблизился, еще больше подружился с котом.

Парни и девушки в университете, куда он поступил, не пускали Рома в свою компанию. Он казался им странным, чудным, не от мира сего. Бабушка все больше слепла, еду готовила наощупь, все реже пела.

Она медленно, медленно и страшно превращалась из человека – в забитого, заброшенного, больного зверька. А кот превращался в человека, до того человеческими были его глаза, по-человечески он обижался или прощал обиду, – и Рому казалось частенько: кот читает его мысли.

Если у Рома что-то болело – кот приходил и ложился на то место тела, что причиняло страданье. Нога болит – ляжет на ногу. Живот – ляжет на живот. Голова – ляжет на голову, да так смело, нагло, всем пушистым теплым животом!

Когда кот умер, Ром очень плакал. Веки опухли как сосиски, нос гляделся картошкой. Кот хотел умереть под Роминой кроватью. Залез туда, скребся, жалобно стонал. Ром вытащил кота из-под кровати шваброй и положил на руки бабушке. Бабушка укутала зверя в старую дырявую шаль, нянчила, качала, как младенца. Ром поил кота из бутылочки теплым молоком. Молоко текло у кота по щеке, по шерсти. Он уже не мог глотать. Морда замерзала, костенела. Кот умер у бабушки на руках – вытянулся всем телом, дрогнул раз, другой лапами, и глаза его остекленели. Ром глядел на стеклянные мертвые глаза, из зеленых и озорных они стали серыми, твердыми – два куска оплавленного железа, два булыжника. Ром положил руку на полосатую голову кота и тихо сказал: «Ну что, брат, до свиданья».

Ром и бабушка похоронили Фильку во дворе, под окном. Стояла весна, гремели ручьи, пахло черноземом, прелыми листьями. Ром выкопал ямку обломком доски. Аккуратно положили во чрево земли кота, обернутого чистой простыней. «Как татарина хороним», – прошептала бабушка. Ром долго закапывал яму, холмик не стал делать – сровнял с землей, даже притоптал.

И тою же весной Ром посадил перед окном два саженца. Яблоньку и тополь.

Бабушке сказал: «Яблоня – это ты, тополь – я».

Он сам купил саженцы. На свои деньги.

Он учился и работал.

Грузчиком на рынке подрабатывал. Таскал мешки с картошкой, ящики с персиками, коровьи и телячьи туши – из машин – рубщикам на распил. И плечи его расширялись, и грудная клетка раздавалась, и из тонкого нежного мальчика он превращался в крепкого, молчаливого, хмурого юношу.

Он не любил говорить. Цифры, формулы, логарифмы, диаграммы. Вот достойный язык. А тот язык, на котором говорим все мы, люди, не может выразить ничего. Ничего настоящего.

Настоящая только песня. Если бы он мог – он бы пел, как бабушка.

Но он не мог.

Глава восьмая. Красный перец

– Фелисидад! Обедать!

– Мама, я еще немного потанцую!

С кухни доносился запах бурритос. Сложная смесь ароматов, но чуткий нос Фелисидад различал все замечательно: вот красный перец, а это белый, немного маисовых зерен, кусочки жареной курятины, лук, а как же без лука, немного мякоти агавы – для остроты, сыр кусочками, – и когда стряпаешь бурритос, он расплавится и обнимет мясо, – и что там еще?.. ах, Господи, конечно, – мелкими ломтями порезанный красный и желтый сладкий перец, как же без него! Бурритос можно делать всякий раз с разными начинками, здесь все зависит от фантазии кулинара.

Мать подняла голову от плиты. Стол уже накрыт. Перекатываясь на кривых ногах, к столу подбредает отец, сеньор Сантьяго, глава семейства Торрес. У него огромный живот, огромная лысая, как яйцо, голова, огромные руки, а ноги внезапно маленькие и изогнутые, как у кавалериста. Голое, тщательно выбритое, густо-смуглое лицо с крупным крючковатым загнутым носом излучает добро. Лишь добро, и ничего больше.

Как же Милагрос повезло с муженьком! Где ж такого мужа еще сыскать! По всему Мехико будешь рыскать – не найдешь! По всему Гуанахуато, по всему Монтеррею, по всей Вильяхермосе, по всем Чиуауа, Сан-Луис-Потоси, Гвадалахаре и Пуэбле не найдешь такого супруга! Вон он, уже восседает за столом! Ждет еды! Вилкой по столешнице стучит! Ну а как же! Она-то ведь лучшая стряпуха во всем Мехико! А может, и в Мексике всей!

Господи, где эти дети?! Эти старики?! Где все, о святая Мария Гваделупская?! Невозможно так жить. Она старается, днями и ночами чахнет у плиты... а они!

– Миге-е-е-ель! Роса-а-а-а!

Тишина. Сеньора Милагрос набирает в грудь побольше воздуха.

– Пабло-о-о-о! Даниэ-э-эль! Лаура-а-а-а! Лусия-а-а-а! Эмильяно-о-о-о! – Передохнула, отбросила мокрой ладонью седую прядь со лба. – Хесу-у-ус! София-а-а-а! Хавье-е-е-ер!

Тишина. Впору рассердиться взаправду.

И тут с лестницы, со второго этажа, скатываются – цветной гомонящей, смуглой, сумасшедшей живой волной – сначала дети, потом подростки, потом взрослые – кто как горох по ступенькам, кто медленно и неторопливо, вцепляясь старой рукою в перила, – милые мои, родные, да как же вас много, да какое же счастье жить в огромной семье! Мы все плывем в нашем маленьком двухэтажном домике на окраине Мехико, как в ковчеге. И мы все любим друг друга. А как хозяйке выразить любовь свою? Чем же выразить, как не вкусным обедом?!

– Садитесь, садитесь, родные мои!

Рассаживаются. Сеньор Сантьяго Торрес с наслаждением вдыхает пар, поднимающийся от миски кукурузного супа с курицей и перцем. Старушка Лусия уже ломает хлеб в тоненьких, как щепочки, нежных пальцах. Когда-то Лусия была пианисткой. Собирала залы. Ей гремели овалы. Ей подносили букеты. А теперь Лусия – всего лишь приживалка у сеньора Сантьяго: она закадычная подруга его сестры Софии, и у нее никого нет, и немощная она, и беспомощная: ну куда ей деваться? А вот и Пабло подбегает, мышцы накачанные, сам весь силач, не подступись! Пабло брат его женушки, приехал из Монтеррея, попросился немножко пожить, да так и живет. Хлеб жует. Да еще сынка из Монтеррея приволок: Пако жена бросила, ребенка ему на руки кинула, – ну как тут не поможешь? Ясно, надо помочь. А эти, Эмильяно да Хесус? О, щенки приبلудные! Это ж детки его сестры покойной, царствие ей небесное, Марии Хосефы! Дом у них на побережье, да не дом, а старый нужник. Рыбу не хотят в океане ловить! Им – Мехико, видишь ли, подавай! Столицу!

И, Боже, ко всем прочим людям, истомившим, измучившим его, грызущим его хлеб и пьющим его питье, тут Хавьер; зачем он здесь? Кто он сеньору Сантьяго? Никто. Из милости его приютил. На свалке парень жил; на свалке, ясно! А человек не должен жить, как плешивая собака. Человек – это человек! И Торрес – человек. По-человечески поступил. Руку на плечо нищему положил. Сказал: идем со мной! Крыша у меня есть над головой!

Так Хавьер стал с ними жить, и лучше всех вылюдился, грязный бродяга! Любого можно отмыть. С любого грязнули – рубаху отстирать. Душу бы не запачкать, душу!

– Милагрос! М-м-м-м! Ты сегодня сама себя превзошла! Я сто лет не едал такого супа!

Половник стучит о дно кастрюли. Тарелки наливаются. Бурритос, еще шипящие, снимаются лопаточкой с гигантской сковороды и кидаются на круглое, как луна, блюдо. Тащат, тащат разные, и детские и старые, и нежные и исполосованные временем, руки еду от плиты – к столу, пустые тарелки – опять от стола – к плите. Салат, вот едет салат! Милагрос сама несет его, на высоко поднятых руках. Царствуй, владычица, это твой Рай! Видишь, как уплетают стряпню твою за обе щеки! Благодаренье Господу, у Сантьяго хорошая работа, о, только бы ему ее не потерять!

Но, хвала святой Марии Гваделупской, и дети, дети тоже помогают... свои кровные песо, заработанные, в карманах обтрепанных джинсов – приносят...

Милагрос поставила салатницу на стол. Незаметно повела рукой над столом. Будто кошку гладила. И все за столом сидящие, как по команде, разулыбались.

«Есть во мне Сила. Только я ее забыла. Да и ни к чему мне она. Надо ее передать. Пора».

– Мигель, положи, пожалуйста, Хавьеру еще один буррито! Он сам не дотянется! Роса, успокой Даниэля! За столом не капризничают! Дай ему воды!

Малыш Даниэль скорчил рожу: хватанул чилийского перца, да полным ртом. Слезы брызгают из глаз. Рот кривится в отчаянном плаче. Вой за столом, как вой сирены. Сеньор Сантьяго щелкает пальцами. Сидит за столом, а как будто танцует! Мальчишка глядит, разинув рот. Слезки высыхают. Звериный вой оборвался. А перец чили, он хоть и жгучий, да всем полезен!

Иисус-Мария, да все ли тут?! Да где ж эта девка, озорница, танцует опять перед зеркалом бесконечную сальсу свою?!

– Фелисида-а-а-ад!

Дверь распахивается, и по лестнице летит черный, красный вихрь. Копна черных мелко-кудрявых волос трясется. Алые юбки развеваются. Стук каблуков по ступенькам – стук сердца безумной, неслучной девчонки. Что творит?! Учебу бросила – танцевать, говорит, хочу! Да все ж танцорки – проститутки!

– Мама, мамочка, прости! Я затанцевалась! Я проголодалась, как зверь! О, бурритос!

– Лучше бы на кухне мне помогла бурритос делать, дура...

Вихрем врывается за стол Фелисидад. Все оживляются, смеются, глядя на нее. Фелисидад – душа, Фелисидад – сердце! Вон как сердце бьется у девчонки, под отогнутым кружевным воротом кофточки. Грудь поднимается! Вверх-вниз, вверх-вниз. Хавьер слишком горячо глядит на смуглую девичью грудь. На золотую лапку крестика. Сеньор Сантьяго громко кашляет в кулак.

– Мать, и бурритос удались!

Сестра Сантьяго, седая София, уже ловко чистит острым тесаком громадный, как голова бегемота, ананас. Колючки ананасовой шкуры впиваются ей в толстые шоколадные пальцы. У нее, как и у брата, огромный, тяжелый, висячий нос. На грушу похож. Она дышит шумно, сопит, старается. Шкурка отлетает, летит из-под тесака. Аккуратно вырезает сердцевину. Первые ломти – детям!

Фелисидад, не отрывая глаз, глядит на прозрачные топазы ананасных ломтей. Накручивает черные кудри на палец. Она уже выхлебала из миски суп, мигом съела буррито, и теперь облизывается, как лиса.

Ох, черная лиска! Мать грозит ей пальцем. Потом кулаком. Потом берет дочку за смуглый острый локоть, приближает лицо к ее лицу – не пахнет ли от девчонки табаком; не пахнет ли вином. И – мужским парфюмом не пахнет ли.

От щеки Фелисидад пахнет свежерезанным ананасом.

И еще – клубникой.

– Дочь, – говорит Милагрос очень тихо, и полные выцветшие, блеклые, без помады, губы ее морщит улыбка любви. – После обеда приходи ко мне в спальню.

– Хорошо, мама.

В руках Фелисидад – ярко-красный перец. Его в центр стола положила старая Лусия – для красоты. Чтобы любовались на него, как на барабан; щурились, как на лампу. Фелисидад взяла перец и нюхает. Мать видит, как хитро изгибается угол рта дочери. Как косит, все знает жаркий глаз.

«Да ее нечему и учить-то, – думает Милагрос потерянно, – наверное, девка уже и без меня все премудрости постигла. Это в роду. Это в крови. А все же должна я! Именно я! Если бы бабка ее жива была...»

Милагрос отпускает локоть Фелисидад. Медленно, словно босиком по зеркалу, плывет в кухню. Сеньор Сантьяго уже отвалился, гладит огромный живот. Ох, не надо бы столь есть мужчине; мужчина не должен переедать! Он должен быть сильным и жестоким, как черный бык на корриде! Ах, Господи Боже, а все же как жалко! Как хочется всегда накормить супруга! Пожирнее, повкуснее...

Мать сидит на кровати. Кровать застлана розовым одеялом, обшитым плотными кружевами. Дочь сидит у ее ног, на полу.

Милагрос понимает: настал час. Она все должна сказать девчонке. Иначе время пройдет, и упустишь его. И не вернешь. Может, завтра она умрет. И не успеет ей сказать.

Но надо с чего-то начать такого пустячного, простого. Расспросить ее о парнях? Она невестится, стреляет глазками. О танцах? Дочь знает: мать любит ее, но ненавидит танцы. Не то чтобы ненавидит: хочет для дочки другую судьбу.

Яркие глаза, смоляные зрачки, золотые белки. Смеется! Ждет. Встряхивает волосами. Волосами – гордится. Львиная грива, если бы львы черными были.

– Как у тебя дела? Не хочешь снова в школу пойти?

– Хочу, – пожимает плечами Фелисидад, – ну, может, и пойду.

Врет. Мать по глазам видит: врет. Успокаивает. Да хоть бы правду в лицо ей плюнула! Отец мечтает, чтобы она выучилась. А она все задом вертит, все бегаёт по вечерам в это кафе к Алисии, будь она проклята!

Ох, не надо так о живом. Иисус-Мария, простите грешницу. Алисия тоже на кусок хлеба зарабатывает. Может, и Фелисидад приплачивает за танцы. Да таится Фели, молчит про деньги. Скрытная. Ну она ж еще маленькая. Она не знает, что деньги даются кровью. Думает: ручками-ножками подрыгала – и миллионерша!

– Мама, ты зачем меня позвала? О школе поболтать?

Черные ресницы зубьями торчат: черные пилы крошечных гномов. Хорошенькая у нее дочка эта. Роса – та побледнее будет, камбала вяленая. А эта – загляденье.

– Фелисидад, – горло Милагрос перехватывает петлей. – Я хочу передать тебе искусство. Это тайна нашего рода. Женщины знают ее.

Мать ощутила, как напряглась и замерла дочь.

– Твоя бабка была из старого индейского рода. Ее отец и мать были индейцы. Их корни восходят к золотым ацтекам. А от них – к богу Улитке. Бог Улитка наш предок. Ты колдунья. – Она проглотила слюну. – Как и я. Как и все женщины нашего рода.

Тело Фелисидад, твердое и напряженное, размягчилось как масло. Она глубоко и размеренно дышала. Молчала.

– Тебе скоро пятнадцать лет. Ты поедешь с подругами на океан. Совершишь обряд посвящения в женщины. Тетя Клара в Масатлане ждет тебя. Я сошью тебе красивое платье. Какого захочешь цвета. Хочешь красное? Ты войдешь в платье в океан, в его волны, и станешь взрослой. Но я не об этом. Это придет в свой черед. Я о другом.

Милагрос положила руку на плечо Фелисидад.

– Ты ездила с отцом и братом в Теотиуакан. Ты ездила в Куикуилко. Ты видела пирамиды?

Фелисидад кивнула.

– Так вот. Пирамида – это раковина. В ней живет бог Улитка. Он касается стен пирамиды своим влажным телом, и на камнях появляются рисунки. Это волшебные рисунки. Твоя бабка, и ее мать, и мать ее матери, и матери всех матерей нашего рода всегда входили внутрь пирамиды, чтобы узнать Силу. Силу бога Улитки. Узнав Силу, женщины нашего рода становились...

Милагрос опять задохнулась. Ей трудно было выговорить это. Она боялась – Фелисидад начнет смеяться над ней.

– Становились...

– Колдуньями, – неслышно закончила Фелисидад.

«Она знает, и это страшно», – подумала мать.

Сняла руку с плеча дочери.

И тут Фелисидад захохотала.

Она хохотала долго, звонко, вкусно, блестя зубами, откинув голову так, что затылок касался спины.

– Ох-ха-ха! Ах-ха-ха! Мама, ты это серьезно?! Да я думала, ты пошутила! Я-то тоже пошутила! Ах-ха-ха-ха-ха!

У Милагрос навернулись слезы на глаза. «Так я и знала! Я с ней как с равной, я по хорошему, а она – потешаться надо мной!»

Хотела встать с кровати. Губы гневно тряслись. Фелисидад все поняла, удержала мать за руку. Крепко сцепились пальцы. Склеились смуглые руки. Теплая кровь переливалась из руки в другую.

– Мы поедем в горы. – Милагрос облизнула сухие губы. – Там пирамида. Пирамида Улитки. Она маленькая. Она для посвящений. В тебе есть Сила, я чувствую. Я же мать. Я знаю. Я должна посвятить тебя. Тогда ты будешь сильной. Очень сильной. И ты сможешь...

Милагрос замолчала.

– Ты сможешь...

Дочь опять засмеялась. Положила горячую ладонь на робкие, выпитые годами, покрытые седым пухом губы Милагрос.

Да она заткнула ей рот, право слово!

«Ах ты... нечестивка... матери рот затыкать...»

Фелисидад, ее юные смуглые, розовые щеки. Ее белые зубы; пружинистые, влажные, черные кудри. Иссиня-черные, вороново крыло.

Она пошевелила плечами, лопатки задвигались под легкой черной тканью.

– Мама, почешу тебе спинку. Да! Вот здесь! Да!

Мать корябалась, скребла ногтями черный шелк. Под шелком – тело, плоть ее девочки. Роса дура. Она ей не передаст. Фелисидад все поймет. В Фелисидад – сила. Кровь горячая. Солнечная.

– А зачем мы поедем на пирамиду? Разве нельзя... здесь?

Какой равнодушный голос. Веселый и равнодушный.

Милагрос опять обиделась. Брови поднялись домиком. Фелисидад взяла ее большую руку и нежно поцеловала в ладонь. Ладонь пахла маисом, томатом и перцем.

– Нет. Здесь нельзя. Ты можешь верить, можешь не верить.

– Я верю! – крикнула Фелисидад, и стекла в окнах зазвенели.

– Я тебя лишь об одном прошу, доченька: учись дальше! Не становись танцоркой! Танцорки... они – плохо живут! И марьячис, и танцорки – бродяги беспутные, голь перекатная! Зачем тебе это! Брось!

– Мама, ну вот уже нравоучения.

Фелисидад легко встала с пола. Подпрыгнула. Побила ногой об ногу.

Пошла к двери.

Обернулась.

– Я не верю в эти старые сказки. Но я поеду. Когда захочешь.

Вышла, копна черных волос-колосьев метнулась взад-вперед.

Мать осталась сидеть на розовой, кружевной кровати. Руки во взбухших венах в подол уронила.

Глава девятая. Катаракта

Однажды бабушка сказала Рому: давай я тебя окрещу! Что ты, пожал плечами Ром, зачем, это, наверное, лишнее.

Бог был его детской тайной. Высохшей мертвой бабочкой, пришпиленной иглой к вате, к дощечке. Он, сидя над формулами и цифрами, приучил себя не думать о Боге. Как только он начинал о Нем думать – цифры мешались в голове, сознание туманилось, вместо четких знаков на клетчатой бумаге проступали рыбы, птицы, звери, человечьи, бычьи и лошадиные черепа.

Люди везде и всюду говорили и думали о Боге, и это удивляло его. Ему казалось: Бог – то, о чем ни говорить, ни даже думать нельзя.

Нет, нет, настаивала бабушка, это моя вина, что я раньше не спохватилась! Без креста негоже!

Ром согласился. Он во всем соглашался с бабушкой. Он боялся ей перечить, ее обидеть, ранить. Чем старше она становилась, тем больше она являлась ему его ребенком, девушкой, девочкой. Малышкой. Иногда он даже играл с нею в ладушки. И ему не стыдно было.

Они нарядно оделись и направились в ближнюю церковь, Рождества Богородицы. У церкви густо-синие, как небо в грозу, купола, усыпанные золотыми звездами, а один купол выложен разноцветной черепицей, и оттого напоминал рыбий хвост в красной, желтой, зеленой, голубой чешуе. Режыбородый подвыпивший священник взял у бабушки деньги. Жадно вырвал из рук. Деньги за крещение. Ром, выше священника ростом, надменно, сверху вниз, покосился. И тут жадность. Где же тогда слава, сила, свет?

Бабушка упала на колени, другие матери, жены и бабушки тоже, это была церковь женщин, распростертых на полу. Лоб и щеки батюшка крестообразно помазал колонковой кисточкой. Теплое масло, и бабушка шепчет: «Елей». Рому окунули голову в алюминиевую купель, вода была холодна и пахла болотом, тиной. Бабушка радостно поднесла чистое полотенце. Крестик на шее, на белой веревочке. Вода с мокрых прядей течет по лбу, по лицу. Глаза просветлели. Крещаемых повели в алтарь, и трижды Ром обходил вокруг алтаря, не понимая, зачем и для чего это нужно.

Ну вот, он принес бабушке радость.

Надо верить в Бога, или даже только делать вид, что веришь. Так делают все люди.

Бабушка ковыряла ключом в замке, когда отворилась дверь напротив. Соседка, уперев в бока два кулака, громогласно восклицала: «А, и до чего хорошенький мальчик у вас вырос, Зинаида Семеновна! А, и до чего славный ты, Романчик, да и умный такой, сразу видать, умнющие глазки, таки да! Погодь, Зина, погодь чуточек, я шас... постой!»

Через минуту соседка вернулась с кулечком в руках. В кульке золотыми ракушками лежало печенье. Остро и сладко пахло корицей. Печенье с корицей. «Спасибо, вы такая добрая всегда, Фаня Марковна».

Ром прижал кулек к животу. Бабушка старательно улыбалась, показывая все свои начищенные хорошей пастой, фарфоровые зубы.

Они сидели за столом, пили горячий чай с лимоном и мятой, ели коричное печенье Фани Марковны, и Ром тайком потирал лоб – ему казалось, он все никак не вотрет в кожу масляный пахучий крест, начертанный кисточкой священника. Картины со стен молча говорили ему: так надо, все русские люди носят крест, а в землю ложатся – над ними тоже крест ставят.

Деревянный. Чугунный. Мраморный.

Его передернуло. «Зачем я об этом подумал?» Бабушка шумно прихлебывала чай, мелкие цветочки бежали, как оголтелые муравьи, по ее кофте, по юбке, по рукавам. Седые, уже снежные волосы она спрятала под платок. Она еще видела грязную картофелину, но уже обре-

зала палец ножом. Уже не различала деньги. Священнику она сунула, по слепоте, не сто, а тысячу рублей.

Логика. Подключить логику. Ну, просто спокойно, логически подумать. Поразмыслить.

Человек живет, бодрый, счастливый, молодой, веселый. У него гладкая кожа. У него белые ровные зубы. Без дырок и черноты. У него густо растут волосы в паху и подмышками. Он любит власть, ест вволюшку, пьет-гуляет. Работает – денно и ночью. Сил – полно!

И вот силы начинают иссякать. Сперва незаметно. Потом все быстрее. Живее, скорей! Утекают. Течет вода. Уходит. Убывает. Обнажается песчаный берег, весь в корягах и водорослях, в мертвых пнях, в пустых ракушках. Человек глядит на себя в зеркало: да, сдал ты, брат! – и начинает гнаться за ушедшей силой. Омолаживается. Бегает по утрам. Выдирает гнилые зубы и вставляет новые, алмазные. Качается на тренажерах. Ест хорошую еду – а ведь в юности жрал все подряд, и ничего! – а сейчас то желудок схватит, то кишки перекрутит. Больные потроха. Большой мозг – плохо, тяжело ворочаются пудовые мысли. Забывает. Запивает таблетку – супом. Кусок селедки – валерьянкой. Тает, исчезает перед слепыми глазами яркий мир. Черные точки плывут. Серые наволочки. Серые больничные, с черными казенными печатями, простыни. Серое ничто.

И что?! Что?!

Тихо, тихо. Не кипятись. Ты математик, физик, думай спокойно. Всегда спокойно думай обо всем.

Это просто мир так устроен. И ты в свой черед начинаешь постигать его жестокое устройство.

Ты зрячий. У тебя ходят ноги. Хватают руки. Но настанет день – и ноги твои не пойдут, и будешь ты сидеть в инвалидном кресле, и спицы огромных колес будут блестеть, и кресло – катиться, и ты – плакать, плакать от того, что катится, вот завтра укатится твоя жизнь. Единственная жизнь.

И что?! Что ты предлагаешь?!

Это закон. Это энтропия. Распад. Сколько костей истлело в земле? Не счастье. Умирают планеты. Звезды умирают. Это знал не только Фламарион. Просто жизнь звезды такая длинная, длинная. Глаза человека ее не охватят. Ни глаза, ни разум.

Но смерть и к ней придет, к звезде. К каждой!

Он приоткрыл дверь и выглянул в гостиную из своей спальни. Бабушка спала на диване в гостиной – это было ее спальное ложе, всегда. С тех пор, как он себя помнил.

Старуха приоткрыла рот, громко храпела. Ром подумал: он не уснет под такой зычный храп. Нашел вату, вставил клочки ваты в уши. Храп слышался все так же: раскатисто, хрипло, будто в горле у бабушки, как в горном ручье, катались камни, булыжники, галька.

Руки бабушки лежали на одеяле. У ночной рубашки на локтях порвались рукава. Ноги торчали из-под одеяла, и Ром увидел длинные, как у зверя, бабушкины ногти. Сердце у него заболело. «Завтра же постригу ей ноготочки. И заштопаю рубашку. Она же уже ничего не видит. Почти ничего. И выкупаю ее, намою. Сделаю ей теплую, горячую ванну. Она будет сидеть в мыльной пене и смеяться, как ребенок».

Он вернулся в спальню, сел за стол, уткнул лицо в ладони и заплакал.

Он устроился на хорошую работу, на ночное дежурство, хозяин платил много, он недосыпал, зевал на лекциях, валился с ног, но через три месяца он заработал много денег.

Он сделал бабушке операцию. Ей удалили катаракту. На обоих глазах.

Когда он приехал за ней в больницу, встретить после операции, он поразился: в больничном холле, на кушетке, сидела невеста. Да, да, юная невеста, со странной белой непрозрачной

фатой, фата спускалась со лба, закрывала глаза! Он подошел ближе и увидел: из-под бабушкиной каракулевой шапки на глаза спадала марлевая повязка. Улыбка изгибала бабушкины губы. Она накрасила их помадой – он знал: для него. У нее с собой в сумочке всегда лежали зеркала, ярко-алая помада, маленький флакончик духов «Красная Москва» и старинная, в виде розовой муки, пудра в картонной пудренице.

«Они мне не велели пока открывать глаза, велели пока под марлей. Но я уже все вижу, внучек. Все».

«Кто – они?» – спросил Ром, и у него исчез голос.

«Врачи».

Ром, осторожно поддерживая бабушку под локоть, вывел ее на улицу. Весенний ветер пахнул им в лицо, взвил русые волосы Рома. Стояла чудесная весна, все цвело враз – и яблоня, и вишня, и сирень, и жасмин: все как обезумело, небо выливало на землю потоки цветов, старалось землю утопить в белой, розовой, искрящейся, духовитой, пьяной пене. Бабушка медленно переставляла ноги по тротуару. Поворачивала голову то вправо, то влево. Ром торжественно вел ее за руку, как в полонезе. Прохожие оглядывались на них. На лице у Рома горело огромным цветком счастье.

«Бабушка, ты видишь что-нибудь из-под этой марли?»

«Ромушка, я все вижу, все! Вон вишенка цветет! Какая красивая... невестушка!»

Бабушка кокетливо отвела марлю ото лба пальцами в перчатке, чуть приподняла марлевую завесу над глазами. И тут же встала, и оторопела, и зажмурилась: свет ослепил ее.

«Бабушка! Что с тобой!» Ром тряс ее за плечи, гладил по дряблым щекам.

«Солнце... Ромушка, это солнце! Оно ударило мне в лицо! Сейчас пройдет, не бойся!»

Они шли от больницы до дома пешком, так неповоротливо, тяжело, медленно, что Ром подумал: вот я превращаюсь в черепаху, – и бабушка больше не поднимала над лицом свою последнюю фату.

Глава десятая. Сальса в кафе Алисии

Дверь кафе на себя. С трудом подается.

Огни, бешенство огней ударяет изнутри.

Как люди, посетители выдерживают напор огня? Люди любят огонь. Они любят его издавна. Всегда. Вон пьют, едят, а на столе – толстая, как хвост носухи, свеча. Официантка несет на подносе тарелки, и в тарелках – огонь. Что горит? Еда горит?! Разве люди едят огонь?

А, это просто повар на кухне блюдо такое сделал! Блинчики с коньяком, и коньяк поджег! Горит коньяк, плавится сахарный сироп! Люди готовы жрать пламя, люди на все готовы!

Ее танец тоже огонь. Да не каждый его сожрет.

– Привет, Алисия!

Твердое, жесткое пожатые руки.

«Эта девчонка пожимает руку как мужик», – думает белобрысая, вся прокуренная-пропитая Алисия, пожимая девчонке руку в ответ, перекатывая языком из угла в угол рта пахучую, горькую, зловонную сигару.

Сигара дымится. В кафе уже полно клиентов.

– Привет, Фелисидад! Я уж думала, ты не придешь!

– Пришла! А то!

Дверь хлопает – удар по ушам. Надо бы сменить пружину. Глядишь, эта дверь убьет кого-нибудь. И она, Алисия Гомес, заплатит невероятный штраф. Завтра же вызовет мастера. Вваливаются певцы, у каждого на спине – гитара в чехле, а кое-кто и в кулаке гитарный гриф сжимает. Марьячис. Великие марьячис! Вы всегда со мной! Вы так любите свою Алисию!

Фелисидад видит: марьячис пришли. Ей нравится один марьячи. Нравится, как он поет. Лучше всех! Как танцует с ней. Он умеет все. И сальсу, и самбу, и румбу, и меренги, и танго. И петенеру. Все умеет! У него жесткие черные усы, торчат, как у таракана. Ноги – кривые корни. Мышцы – мотки проволоки. Поджарый. Глаза светлые, серые, навывкате. Щеки впалые, будто не ел неделю. Он волнует Фелисидад. Когда он берет ее за руку, ей кажется: ладонь обжигает факел.

Везде пламя. Везде!

«Мужчина – это пламя, – вздыхая, поучала ее донья Лусия, – а женщина – валежник».

А может, наоборот, засмеялась тогда Фелисидад, мужчина – сухой хворост, а женщина – огонь? Донья Лусия заправила за уши жиденькие седые прядки. Ее тонкий нос так понюхал воздух, будто нюхал розу. Или красное вино.

«Как хочешь», – сказала тогда старая Лусия.

Марьячис расселись по столам. Один из них стул вверх ногами перевернул. Четыре ноги торчат. Фелисидад прижала ладонь к губам, хохотала беззвучно. Алисия налила из початой бутылки полстакана текилы, протянула ей.

– Выпей! Ну! Что не пьешь со мной?! Не хочешь со мной, да?!

Фелисидад весело глядела на своего марьячи-таракана. Она не знала, как его зовут. А он знал, как зовут ее. Ее здесь все окликали то и дело: «Фели, подсядь к нам!», «Фели, станцуй румбу со мной!», «Фели, у меня креветки, угощайся!» Фели то, Фели се.

– Не хочу! – Фелисидад дерзкая девчонка. За словом в карман не лезет. – И не буду!

– Ну-ну, танцорка... кого перетанцуешь...

Фелисидад выпятила грудь и трянула юбками. Она сама сшила это платье для танцев: лиф черного шелка, низ покроя «солнце», слепяще-красный, кровавый, за края юбки взяться – можно над головой руки соединить.

Хрипло, длинно вздохнула Алисия, в груди у нее заклокотало. Она запрокинула голову и отхлебнула большой глоток.

– А-а-а-ах, голубая агава, что бы людишки без тебя делали...

Фелисидад видела краем глаза: входили еще марьячис, несли с собою не гитары – трубы и барабаны. О, да сегодня тут целый оркестр! Вот уж она попляшет!

Музыка ударила внезапно. Обвалилась ледяным, грохочущим водопадом. Гитары в руках парней вибрировали, метались, тряслись. Гитары тоже танцевали. И уже танцевала, бешено, неистово плясала она – уже в круге света, на пыльном полу кафе, и глиняные плиты звенят под каблуками, и воздух ртом ловит, задыхается, как рыба на берегу океана!

Сальса. Любимая сальса! Марьячис играли сальсу, и вперед вышел, перебирая худыми ногами, этот, ее зазноба. Выпучил глаза, как рак. Близко, очень близко подобрался к ней в танце – Фелисидад слышала, через весь грохот веселой музыки, его дыхание. Жаркое, винное дыхание мужчины.

Зло ударяя скрюченными пальцами по струнам гитары, тощий марьячи запел, высоко, пронзительно, гнусаво, его голос разрезал дымный воздух кафе, как индейский нож:

– Ты, старуха, калавера!
Нынче ты спляши со мною!
Я, старуха, нынче ночью
Назову тебя женою!

Обниму тебя, косяя,
Спать со мною нынче будешь!
Ты, костлявая, босая,
Кабальеро не забудешь!

И все марьячис, весь хор, дружно грянули, подняв подбородки над гудящими, пляшущими в дыму и пьяных выкриках гитарами, разевая зубастые волчьи рты, выдвигая вперед согнутые в колене ноги, и у кого-то сверкал в коричневом, как переспелый банан, ухе кривой попугайский клюв золотой серьги:

– Ты, костлявая, босая,
Кавалера не забудешь!

Струны насыщали густой, цитрусовый, спиртовой воздух биением живых сердец. Струны звучали продолженьем сердца, наружным проявлением его постоянного, вечного стука: стук и грохот музыки, стук каблук Фелисидад по плитам пола, стук ложек и вилок о чистую, о грязную посуду, о посуду с едой, с кукурузой и жареным тунцом, с масляными тако и черными глазами маслин. Сердце, ты стучишь в такт музыке! Музыка вечна. Я танцую всегда. Так будет всегда!

Ее усатый таракан уже плясал, сплетая и расплетая безумные тощие ноги, вертя в руках гитару веретеном, вокруг нее. Он обхаживал ее. Так голубь танцует вокруг голубки. Самец и самка, ну что ж тут такого. Все в мире хотят друг друга. На время. На часок. А потом разлетаются, голуби. Фелисидад, девственница! Он чувствует это. Он знает: ты – чистая. Он не тронет тебя. Дай ему просто покуражиться. Просто повыделывать вокруг тебя пьяные вензеля, жестокие узоры.

«А может, он колдун!»

Пот ошпарил ей спину. Полил между лопатками.
Марьячис грохотали:

– Смерть, старуха дорогая!

Не вноси меня в письмовник:
Я великий кабальеро,
Я ведь лучший твой любовник!

Я в тебя посеял семя!
Зачала ты, черепушка!
«Я люблю тебя навеки!» —
Я шепну тебе на ушко!

Белобрысая Алисия глядела на эту пляску, слушала это оголтелое пенье, видела, как бросают деньги к ногам марьячис посетители, и хищно думала: «Так, сколько же они мне отстегнут сегодня, мои мальчики?»

А Фелисидад упоена сальсой, ничего не видит-не слышит, ноги ее встают на носки, легко, воздушно движутся меж разбросанных по полу денег. Вот дура. Надо наклоняться и собирать, а не то за тебя урожай соберут другие.

Вот она, судомойка, Ирена. Уже ловчит. Уже скользит в толпе, уже шарит ручонками по полу. Алисия засунула два пальца в рот и пронзительно свистнула. Марьячис не прекратили играть и петь. Замерла лишь одна, со вздернутыми вверх руками, Фелисидад.

Она одна испугалась свиста.

Подумала: рухнет потолок.

Так стояла неподвижно, и ее доходяга-таракан сделал возле нее круг – и тоже встал, взбросив вверх гитару. А потом упал на колено – и губами к голой коленке Фелисидад припал.

И марьячис грянули последний куплет:

– Понесла ты, калавера,
Нынче от меня ребенка!
Вот такой я бык могучий,
Над тобой смеюсь я звонко!

Видишь, я силен и весел!
Крепко так мое объятье!
Пусть по миру разнесется:
Смерть саму я обрюхатил!

– Смерть саму я обрюхатил! – подпевали люди, качаясь в такт песне за столами. С ближнего столика на пол свалилась бутылка, разбилась. Густо-красное вино поползло по полу красной змеей. Подползло к ногам Фелисидад. Тощий марьячи оторвал губы от ее колена.

Все захлопали в ладоши. Сквозь густую пелену дыма в кафе ничего не видно. Алисия разрешает курить у себя; и ее забегаловку радостно прокурили до самой крыши. Маленький домик близ дороги. Сюда и водители заходят, и байкеры заруливают. И тетки, что идут торговать сомбреро на ближний рынок, а еще вареной кукурузой и синими попугайчиками в плетеных клетках, тоже. Тетки сидят, покуривают, берут что-нибудь попроще пожрать: тако, стакан томатного сока. Кто побогаче – заказывает стаканчик кальвадоса или текилы. У Алисии – пьяное кафе. И сама она постоянно пьяна. Но тщательно это скрывает.

– Bravo! Bravo! Bravo, Фели! Bravo, ребята!

Судомойка Ирена хотелализнуть с денежками, но наткнулась на взгляд Алисии, как на иглу. Алисия манит Ирену пальцем, та подходит. Печально высыпает Алисии в подол мятые, старые, новенькие, хрустящие, замасленные, грязные песо. Алисия рассовывает гоно-

рар по карманам. В левый – для марьячис и себя, почти все. В правый – пару бумажек: для танцорки.

Ей и этого хватит. Богатая или нищая эта девчонка? Приходит, пляшет.

Ну и пусть приходит.

Фелисидад мазнула красной юбкой по лицу коленопреклоненного марьячи. Попятилась. Таракан встал, перебирал струны гитары, усмехался. Его выпученные, как у рака, глаза насмешливо кричали: «Да нет, не трону я тебя, не изнасилую, танцуй, живи!». Фелисидад повернулась к нему спиной, пошла к столику Алисии, нахально вертя задом. Села. Алисия вытащила из кармана две бумажки. Брякнула ими об стол. Деньги вымочились в вине и жире. Алисия резко подвинула песо к Фелисидад кулаком, сдула пепел со стола: она никогда не могла стряхнуть пепел с вечной сигары в пепельницу, всегда – мимо: на юбку, на пол, в бокал с вином.

– На. Бери. Заработала. Классно пляшешь, детка. Далекое пойдешь.

Фелисидад засунула деньги за лиф.

«Бойкая. Еще нетронутая! Испортят быстро».

– Ты, – хрипло выдохнула Алисия и подалась к Фелисидад, грудью легла на стол. – Ты откуда? Откуда ты ко мне шастаешь? А? Где ты живешь?

– Как где? Здесь. В Мехико.

– Мехико большой. Ты одна? Ты богата? А может, ты чья-то дочка? Ну, крутого дядьки? Отловит он тут тебя у меня – меня пришьет!

Алисия уже везла языком.

Фелисидад накрыла смуглой ладошкой ее руку.

– Алисия, тебе не надо больше пить. У нас большая семья. Много народу. Клан, – она усмехнулась, зубы блеснули. – Мой отец держит автомойку. Вместе с моим дядей. Все? Ты довольна?

– Довольна, – Алисия точь-в-точь повторила ее улыбку, – до-воль... на...

Упала головой на стол. Посуда на столе зазвенела от удара лба о столешницу. Марьячис заиграли новую музыку. В кафе входили люди, и из кафе выходили; усатый таракан внимательно следит за Фелисидад – останется? Уйдет? Судомойка Ирена тишком подкралась к задремавшей пьяной хозяйке, запустила руку ей в карман. Таракан успел подшагнуть, дать судомойке подножку. Она растянулась животом на полу, стискивая в воровском кулаке пачку песо.

– Это наши деньги, сеньорита, – очень вежливо сказал усатый таракан, за локоть поднимая с полу Ирену, аккуратно вынимая деньги у нее из руки. – Наши. Поняла? Запомнила? Больше так не будешь?

Ирена с ужасом глядела на нож, выдернутый усатым марьячи из кармана джинсов.

Бедная судомойка таких ножей никогда не видала.

Лезвие прозрачное. Чуть розовое. Из розового, грубо обточенного камня. Все в сколах, в царапинах. Наверное, страшно острое. Страшный нож. Чуть лезвием таким по животу проведешь – все кишки мигом наружу. Рукоять спокойно лежала в плотно сжатом кулаке Таракана. Из кулака торчал край рукояти. Он изображал оскаленную башку. Череп.

Зубы скалятся, высунут наружу каменный язык.

Горят белые хрустальные глаза. Горят в голом каменном лбу.

На странный дикий нож глядела не только Ирена.

Фелисидад, наклонившись к колену, пылко поцелованному тощим Тараканом, и якобы поправляя юбки, исподлобья, жадно, тоже глядела на него.

Глава одиннадцатая. Не приговор

Ром счастлив: бабушка прозрела.

Она просыпалась и крестилась: Боже, спасибо тебе, я вижу свет! Ром распахивал белые, похожие на простыни шторы, и гостиную заливало хмельное синее вино неба, крепкое золотое вино солнца. Бабушка смеялась, как пьяная. Тихонько вставала, и под ручку Ром вел ее в душ. Ласково водил намыленной губкой по сморщенной спине, в грубых бурых, серых наростах старческих бородавок. Мыл ей голову, как ребенку. Бабушка отфыркивалась, терла лицо ладонями под нежными струями душа. Она не стеснялась перед внуком, уже взрослым парнем, своей ветхой, жалкой наготы. Она уже была не женщина: сухой предзимний лист, раскрытая старинная шкатулка с пожелтевшими жемчужными бусами на черном дне.

Ром счастлив: бабушка прозрела! Она все видит! Видит вареное всмятку яйцо, вставленное в старинную, времен бабушкиного детства, пашотницу. Видит светло-зеленые листья салата – Ром аккуратно нарезает их сверкающим ножом на кухонной доске. Видит картины деда по стенам; видит рисунок покойного кота Фильки, вставленный в рамку – это Ром сделал, это Ром сам нарисовал. Видит свои руки. Видит свои ноги. Видит ветки вербы, они стоят в темно-синей, с золотой розой на боку, вазе с прошлогоднего Вербного воскресенья. Видит икону Божьей матери – дешевую, бумажную, сусальную, такую родную, Казанскую! И нагоревшую, темного воска, церковную свечу перед ней.

А Ром знай накрывает на стол, он такой быстрый, он снует туда-сюда, как заправский официант, смеется, и бабушка видит – у него такая прекрасная, солнечная улыбка!

Господи, неужели это мой внук, думает бабушка, и он живой, и я жива. И вижу, вижу!

Ром сам намазывает бабушке бутерброд маслом. На столе баночка красной икры. Бабушка недоуменно глядит на баночку и спрашивает Рома:

«Ромушка, а это что такое? Вареная морковка?»

Ром хохочет, нож уже подцепляет икру, нож летает, порхает, все делает сам по себе, а руки Рома лишь помогают ему.

«Икра, бабушка! Кетовая!»

«Откуда?»

«Я купил!»

«Господи, как купил?!»

«Бабушка, на деньги! Я же работаю! Учусь и работаю! Ты разве не знала? Ты знала, да просто забыла!»

Бабушка кивает лохматой белой головой: да, да, конечно, я знала, но забыла! А сейчас вспомнила!

«А на кого ты у меня учишься, детонька?»

Бутерброд, густо намазанный красной икрой, в дрожащих пальцах старухи. Катышки икры – горящие рубины. Даже страшно есть такую драгоценность. Бабушка тихо кладет ресторанное кушанье на чистое блюдо. Смотрит. Любуется. Плачет.

«На физика, бабушка! Я в университете учусь! А еще подрабатываю немного! Ну, чтобы нам на еду хватало хорошую! Ты должна у меня хорошо питаться! Я за этим слежу!»

Ноздри втягивают запах кофе. Ром любит кофе. Он наливает его в чашку, дымящийся, черنو-дегтярный, из старинной медной джезвы.

«Бабушка, а тебе я чайку заварил!»

Это самый счастливый завтрак на свете. Они веселятся, как дети.

Они едят и пьют, они улыбаются и смеются.

Они вроде бы человеки, и они два ангела.

Так думает Ром, выливая остатки кофе из джезвы в чашку.

А после завтрака, утерев рот салфеткой, бабушка поет.
Она поет Рому самую радостную песню. Радостней не пела никогда.
Ром, откинувшись на спинку стула, слушает, закрыв глаза.
Он с ужасом думает: ей так много лет, она дрожит, как на ветру листок, она вот-вот уйдет от него так далеко, что он никогда ее не увидит больше, – а голос, голос услышит ли он?

Неприметно, тайно, исподволь подкрался жар.

Сначала чуть болела голова. Потом начало ломить и выкручивать суставы. Потом холодный пот потек по спине, а потом горячий, и зубы забили чечетку, выстукивали невнятный, безумный ритм. Зубы танцевали отдельно от тела.

А тело уже полыхало. Горело. Ярким пламенем. Невидным. Неслышным.

«Бабушка, кажется, я заболел!» – прохрипел Ром, лежа на кровати в своей спальне. Встать не было сил.

Бабушка сидела на диване, на плоской подушечке, и, вооружившись громадной лупой, читала «ОБЩЕСТУПНУЮ АСТРОНОМИЮ» Камиля Фламариона и разглядывала в лупу на старинных гравюрах лунные кратеры, марсианские каналы и спутники Юпитера. Она подняла тяжелую, как утюг, голову. Глаза ее слипались: ей хотелось спать. А Ром обещал ей на ночь горячего чаю, и с медом. С настоящим липовым медом. Он сам купил. Умница мальчик.

Что это с ним?

Кажется, он что-то сказал?

Старуха отложила Фламариона, заляпанную жирными пальцами лупу, тяжело разгибая спину, встала и подбрела к лежащему на кровати внуку. Он походил на распластанную рыбу камбалу. Глаза глядели и не видели. Красные белки. Губы потрескались. Кончик языка торчит между зубами.

Бабушка положила руку на лоб внука – и отдернула ее.

«А! Какой жар! Ты захворал! Ты...»

Она, суется и спотыкаясь, ринулась в гостиную, чтобы открыть секретер – там лежали припасенные впрок лекарства, – чуть не упала, ухватила за край черного пианино «Красный Октябрь», затрещал серебряный ключ в заржавелом замке секретера, на руки бабушке вывалились пачки и коробочки с таинственными надписями, она шарилась руками в секретере, давила таблетки, как клопов, гребла к себе, к груди и животу, выгребала все то, что изобрели люди для того, чтобы вылечить болезнь, а может, усугубить ее, – и наконец глаза ухватили знакомую надпись, и бабушка, чувствуя, как слабеют от страха руки и ноги, взяла лекарство в зубы, как собачка, и так, с упаковкой в голых деснах – фарфоровые ее зубки мирно покоились в чашке в буфете, – прошаркала опять в спальню.

Ром лежал. Тело разлилось, растеклось по кровати. Не тело – тесто. Горечь и огонь. Страх и боль. Он заболел!

«Я тебя вылечу, мальчик мой...»

Выплюнула упаковку в ладони. Растеребила, разорвала отчаянно. Таблетки, белые пуговки, зачем вас к жизни человеческой пришивают?!

Толкала Рому в зубы, в губы.

«Пей, мой родненький... глотай! Проглоти... ах, водички нет, сейчас принесу...»

Она, заплетаясь ногами, побрела на кухню, к чайнику, к кувшину, налила воды в стакан, поспешила обратно – и упала посреди гостиной, растянулась на гладком деревянном полу, стакан разбился, вода лилась вдоль половиц, текла в щели, утекала навек, и бабушка, лежа животом на холодном полу, заревела, завывала – от боли, обиды и тоски, от досады на себя, немощную, глупую.

«Ромушка... я сейчас!.. Ты не волнуйся... я поднимусь... я...»

Долго вставала, раненый зверь. Ползла в буфет. Вытряхнула искусственную челюсть из чашки. В чашку плеснула воды из кувшина. Когда с водой в вытянутых, отверделых от ужаса руках, подошла к кровати – увидела: таблетка прилипла к губе Рома белой родинкой.

Он шумно глотал. Вода. Пить.

«Еще пить!»

Старуха еще сходила за водой. Намочила полотенце. Приложила ко лбу Рома.

Села на край кровати.

Ром уже терял сознание. Жар поднимался. Лицо красное, как помидор. Веки синие. Дышал часто, по-собачьи. Бабушка пощупала ему пульс. Ее лицо вытянулось. Она увидела себя в трюмо напротив: белая, с белыми космами и белым как мел лицом, старуха сидит близ больного, и чем больной болен, не знает никто.

Она одна знает. Она.

Она, и только она, его вылечит.

Она не будет звонить врачам. Врачи залечат. Она не даст его в больницу увезти. Дома. Только дома. Она знает, что делать.

Всю ночь Ром бредил. Он катался головой по мокрой от пота подушке и бормотал, и кричал. Он кричал: «Улитка! Раковина! Кохлион! Спиральная структура материи!» Он шарил руками у себя по груди, цепко хватал нательный крестик, пытался порвать крепкую белую нить. Нить врезалась в шею, и Ром плакал. Бред длился, тянулся, не обрывался. Бред мучил и насмешничал. Ром бредил и понимал, что он бредит, но не мог побороться с бредом на равных. Он оказался слабее.

Жар то спадал, то взрывался опять. Бабушка всю ночь сидела на своем диване, не спала, прислушивалась к несвязному бормотанью внука. Молилась. Крестилась. Со стены картины деда горели в ночи тусклыми, темными кострами. Темным, посмертным пламенем горели.

Утром бабушка подошла к постели – внук лежал на удивленье спокойно, тихо.

Старуха протянула слабую руку и потрясла Рома за плечо.

«Ромушка! Солнышко! Проснись!»

Рома сознание покинуло.

Бабушка опустила на колени возле его изголовья.

Мокрые холодные полотенца. Горчичники. Теплое кислое питье. Выжать лимон в воду, да побольше. Таблетки. Еще таблетки. Именно эти таблетки. Они помогут. И уши, уши растирать! Так восстанавливается кровообращение в голове.

Когда Ром открыл глаза, бабушка закрыла глаза и прошептала: слава тебе, Господи, ныне и присно, и во веки веков, аминь!

И снадобья опять; и питье, много питья; и калина, толченая с сахаром; и растирания скипидаром, смолой живичной; лучше народных рецептов нет ничего.

Болезнь – тайна. Как все на свете.

Болезнь дается зверю и человеку лишь для того, чтобы ощутить себя живым. Чтобы помолиться об избавлении от темного, злого. Чтобы, лежа в немощи, ощутить, вкусить сполна счастье забытья и радость выздоровления.

Болезнь Рома прошла, как проходят все болезни на свете, если не смертельны они. Жар спал. Бред покинул его. Лицо побледнело, а потом на скулы взошел здоровый живой румянец. Он еще лежал, не вставал, и бабушка готовила ему еду сама, как в детстве, и приносила в кровать на старом черном подносе, расписанном алыми розами, маками и тюльпанами. Он уже улыбался, сам добирался от кровати до туалета и обратно, и смешно шутил: бабушка, ты лучше

любой медсестры, да только у нас дома нет утки и судна, как в больнице, и ты не умеешь их подавать.

Ром не знал, что у его болезни есть продолжение.

Люди ничего не знают о том, что будет завтра; и зачем им знать?

Разве не лучше жить, радоваться жизни, улыбаться ей, ничего о ней не зная?

Однажды на занятиях в университете ему стало плохо в аудитории. Боль возникла внутри, в груди, слева. Он замер, вытаращил глаза и схватился рукой за грудь. Мял ее, тискал. Укрошал боль.

Сосед толкнул его локтем в бок: эй, старик, ты что это, а?! что это с тобой такое?! плохо, что ли?! – а Ром уже падал, валился на скамью лекционного амфитеатра, и сосед подхватил его, прижал к себе и нелепо, клекочуще крикнул, петухом кукарекнул: «Э-эй! Люди! Доктора-а-а!»

Профессор прервал лекцию. Вызвали «скорую». Рома отвезли в дежурную больницу, положили на койку, вкололи один укол, другой, третий, поставили капельницу. Он, лежа под сырой больничной простыней с черным пауком казенной печати на уголке, равнодушно следил, как из капельницы ему в жилу, по узкой прозрачной трубочке, перетекает спасение. Жизнь.

Что такое жизнь, спросил он себя?

И не было ответа.

Старый суровый доктор, похожий на древнего воина, в высокой белой шапке-митре, с фонендоскопом на шее, как с царским ожерельем, спросил его на обходе, покачиваясь на табурете около его койки: «Вы перенесли инфекцию?» Да, гриппом болел, тяжелым, кивнул Ром. Доктор прикрыл глаза набрякшими веками. «Ну вот. Да. Понятно. И чем лечились?» Бабушка лечила, еле слышно прошептал Ром. «Бабушка! – заорал доктор. – Бабушка! И чем?! Чем?!»

Чаем с лимоном. Аспирином. Калиной.

«Калиной-малиной! Неучи! Дилетанты! Вместо того чтобы... Ты, парень, после гриппа твоего, перенес... это! А может, и еще вот это! – Из врача посыпался сухой горох странных латинских названий. – И теперь у тебя сердце взвыло! Подкачало, да! Грохнула бабушка сердчишко твое! Вот она, дремучесть наша! О проклятье!»

Доктор поднял вверх руки. Ром смотрел на него снизу вверх, лежа на койке, на вдавленной глубоко, как гамак, панцирной сетке.

«Доктор, что у меня?»

Он постарался спросить это как можно спокойнее. Бесстрастней.

«У тебя-то? О Господи! А тебе легче станет, если скажу?»

Легче, кивнул Ром. Глаза его уже наполнялись слезами. Хорошо еще, лежит, может, не вытекут.

Доктор выкрикнул мудреное название болезни. Ром глядел, как глухой.

«Понял?! А, да ты все равно не...»

А это навек? В смысле, на всю жизнь?

«Навек-навек... Короче, да, парень, с этим ты теперь будешь жить! Жить-поживать! Добра наживать! Да ну, не дрейфь! С этим делом люди до ста лет живут! Если, конечно, соблюдать все предосторожности! Ну, многого тебе нельзя будет, конечно, да! Но ты не кисни! Это ж не приговор. Ты! Слышишь! Не приговор!»

Слезы все-таки вытекли из углов глаз. Быстро, мгновенно стекли по вискам на подушку. Больничная жесткая подушка, старое птичье перо быстро впитали соленую влагу.

Глава двенадцатая. Ночь Благодарения

Пришла больничная ночь, единственная из ночей.
Он не забудет ее никогда. Сколько бы ни прожил на свете.

Сначала ему стало плохо. Тьма подступила незаметно, неслышно. Начались перебои, сердце стало стучать не так, как обычно: странно, быстрыми сдвоенными ударами, а между ударами – паузы, провалы. Пустота.

Пустота все увеличивалась, все росла, и вот уже Ром на локтях напуганно приподнялся на кровати и слабо крикнул соседу по палате: «Эй! Врача! Худо мне...» – и тут пустота захлестнула ему горло петлей, и все потроха странно повисли в нем, ухнули вниз, в пустоту эту, и полетели, и он полетел, а куда – не знал и не понимал.

Вместе с полетом пришла боль. Не такая, как дома. Резкая и сильная, словно его кромсали изнутри ножами. Он уж думал – вот, все, боль достигла границы, а дальше может быть только ужас бессознания, – но нет, он все видел и чувал, а боль все росла, и тогда он жалко, постыдно заорал. Вернее, ему казалось, что он кричит: на самом деле он кряхтел и беспомощно, как новорожденный щенок, разевал рот.

Он не слышал, как вокруг него бегают ходячие больные, сестры и санитарки; не видел, как катят, грохоча, к нему каталку, не чувствовал, как торопливые, жесткие, истеричные руки ухватисто, зло перекалывают его с койки на каталку и везут, везут.

Грохочет по каменным плитам, от жизни к смерти, железная повозка. Белизна реанимации режет глаз, но не видят сейчас его глаза. Они видят изнутри только боль. Они видят боль в лицо.

И лицо у боли страшное, уродливое, дикое, у нее распяленный беззубый рот, у нее распатланные, развитые вокруг башки волосы-змеи, у нее выкаченные яйца-глаза, у нее подбородок, дрожащий от жадности и вожделения. Она тебя присвоит, пожрет. Не успеешь ускользнуть!

Он не ощущал, как к его телу кучка снующих врачей подсоединяет трубочки и иглы, как кричат что-то об электрических разрядах, как тело его крупно, безысходно содрогается под острым мгновенным током. Он был лицом к лицу с тем, чему имя было – Ничто, и сам он на миг стал Ничем, и это, может, было счастливей всего.

«Еще! Еще!» – вопил хриплый голос. Он не слышал. Еще ток, и еще содроганье. Живое сотрясается, шевелится, и это всего лишь рефлекс. Сокращенье мышц тела. А душа, где душа? Она ушла. Куда?

Тело не может без души. Не может.

Так что же такое тело, и почему оно обнимает, танцует и любит? Бежит ногами по земле? Бежит, бежит, задыхаясь, бежит к любви своей?!

Он же еще не любил. Он еще не любил никогда! Дай ему изведать любовь!

Кто – дай?! Кому – молитва?!

«Синусовый ритм!» – проорал опять тот же прокуренный, как у хулигана в подворотне, грубый голос. На грудь Рома капал с чужого лба чужой пот. Хриплоголосый врач сломал ему два ребра и напрямую делал рукой массаж сердца. Операционная медсестра, дрожа с ног до головы, умело, холодными руками, делала в обнаженное сердце укол. Длинная игла. Нагое сердце, и бьется. И люди видят, как оно бьется у человека внутри. Оплетенное сосудами, облитое кровью. Бедное. Милое. Единственное.

Если остановится – такого больше не будет никогда.

Хирург отошел от операционного поля. Махнул рукой ассистентам: зашивайте! Под сдвинутыми ребрами, под туго затянутым кетгутом, под слоями бинтов скрылась оплетенная арте-

риями и венами, как бутылка с вином – гибкой лозой корзины, сердечная сумка. Операционная сестра ловко всунула хирургу в зубы горящую сигарету. Уже прикурила. Хирург стоял с поднятыми вверх окровавленными руками в перчатках и курил, пыхая дымом, не берясь пальцами за сигарету. Сестра стянула ему с рук перчатки. Он сунул руки под струю ледяной воды, долго мылил руки мылом.

Обернулся к столу, на котором, распластанный, лежал Ром, крикнул: как ритм?! «Синусовый, – отвечали ему, – все в норме. Вытащили». Вытащили, хмыкнул хирург, все-таки вытащили, ну, я же говорил, вытащим. Чистыми мокрыми пальцами наконец ухватил сигарету, затянулся жадно, мощно. Дым вылетел из ноздрей и изо рта, и операционная сестра тихо расмеялась, а потом закрыла рот ладонью.

Над головой Рома раздавались команды: ввести это лекарство, и вот это, и еще это. Не перекладывать на койку. Пусть пока лежит на столе. Укрыть простыней. Нет, еще одеялом, здесь холодно.

Он очнулся неожиданно. Когда никто не ждал, и он сам не ждал тоже.

Стояла глубокая, земная беспросветная ночь. Фонари погашены, но вся ночь просвечена насквозь призрачным звездным светом. И еще светом снега.

Снег – самосветящаяся материя. Почти как Солнце. И звезды.

Потому что он белый, слишком белый. Если свежий, только что выпал.

Снег – свадьба земли. Снег – саван земли.

А может, родильная простыня.

Ром открыл глаза. Как ни странно, он осознал себя сразу. И то, что случилось. Он понял, он – в больнице, и его оживили. Он умер, и его оживили. Грудная клетка была закована в лютый твердый холод, он поднял слабую руку и ощупал повязку, потом постучал пальцем по марлевой обмотке. Раковина. Он – улитка, и он – внутри ракушки. Улыбнулся, но не вышла улыбка. Вышла кривая усмешка, полная невылитой из тела боли.

Боль. Где она? Боли не было. Тупое глухое нытье под ребрами, будто постанывал кто-то: а-а, а-а. Ах да, это он сам стонал. Усилием воли он прекратил стонать. Стыдно же. Соседи? Повел головой вбок. Никого. Он лежит в странной палате один. Сколько здесь приборов, столов, ящичков, трубок, мигания цифр на живых экранах! «Я будто лечу в космическом корабле», – подумал он про себя, и ему захотелось рассмеяться, и он не мог.

Он не мог ни смеяться, ни плакать.

Мог только думать.

И он стал думать.

Он лежал, вытянутый, как в могиле, на странном узком столе, и думал так: я живой! Господи, я живой! И какое же это счастье! Господи, думал он, какое счастье жить, вдыхать воздух, он пахнет спиртом, он пахнет резиной, пахнет хлоркой и известью – недавно тут белили потолки, – пахнет горечью неведомых лекарств и немного – хлебом, а, это санитарочка забыла на подоконнике пакет с надкусанным пирожком, вот и пахнет тестом и вареной капустой. Господи, вот огромное окно, оно незашторено, и за ним звезды. Он видит их отсюда. Они горят ровно и ярко. Зимние звезды очень яркие всегда. Самые яркие. Видно ли отсюда, из больничного окна, любимый Сириус, Господи? Нет. Шею извернуть! Все равно не увидишь. А что видно? Какие созвездия? Ага, Орион. И пояс Ориона, вот эти три звезды, и на плече охотника – пылающую Бетельгейзе. А чуть пониже – Беллатрикс. Орион над зимней землей! Над зимней его страной!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.